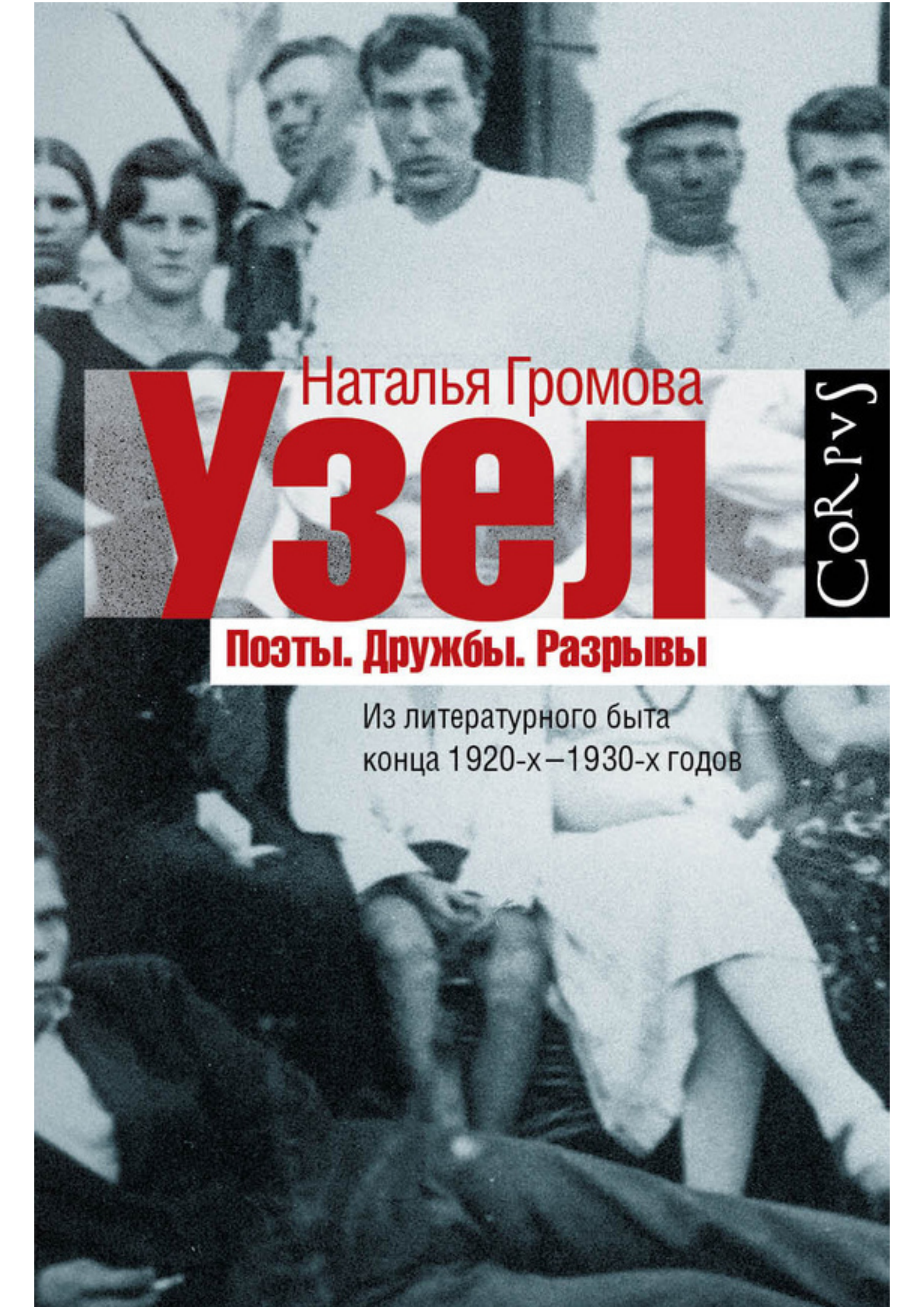




Наталья Громова

Узел

CoRpus

Поэты. Дружбы. Разрывы

Из литературного быта
конца 1920-х—1930-х годов

Наталья Громова

**Узел. Поэты. Дружбы.
Разрывы. Из литературного
быта конца 20-х–30-х годов**

«Corpus (ACT)»

2016

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Громова Н. А.

Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов / Н. А. Громова — «Corpus (АСТ)», 2016

ISBN 978-5-17-095557-2

Эта книга о судьбах поэтов в трагические 30-е годы на фоне жизни Москвы предвоенной поры. В центре повествования, основанного на ранее неизвестных архивных материалах и устных воспоминаниях М. И. Белкиной, Л. Б. Либединской и других современников тех лет, – судьбы поэтов, объединенных дружбой и близкими творческими позициями, но волей судеб оказавшихся на разных полюсах. Главные герои книги – Б. Пастернак, В. Луговской, Н. Тихонов, Д. Петровский, а также знаменитые и незаслуженно забытые поэты и писатели, без которых невозможно полно представить русскую литературу советской эпохи. Издание переработанное и дополненное.

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-095557-2

© Громова Н. А., 2016
© Corpus (АСТ), 2016

Содержание

Предисловие ко второму изданию	6
Предисловие	7
Часть I	10
Московский быт: 1921–1926 годы. Приметы времени	10
Узлы и «узловцы»	14
Софья Парнок. Вполголоса	17
Александр Ромм: из рассыпанного поколения	20
Из одного «Узла». Пастернак	22
Петровский. «Наследник традиции поэтического безумия»	26
Хлебников и Петровский	29
Пастернак и Петровский	32
Марика Гонта. Мертвый переулок	35
Исай Лежнев. Похождения главного редактора журнала «Россия»	40
Луговской. Первородный грех происхождения	45
Петровский и Луговской. «Поэты перешли на «ты»»	49
Пастернак и Тихонов	52
1927 год: макушка нэпа. Приметы времени	57
«Констры» и конструктивисты	61
Партия конструктивистов. Драка на все фронты	65
Корнелий Зелинский: менять «социальные маски»	68
Григорий Гаузнер. «Вытравить из себя интеллигента»	71
Кризис глазами Луговского. «Возьми меня в переделку и брось, грохоча, вперед!»	74
Асеев и Пастернак. Эхо ЛЕФа	78
Петровский против Маяковского. Вариант пародийный	82
1929-й – год великого перелома. Приметы времени	84
Любовные лодки	87
«Самоубийца»	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Наталья Громова

Узел. Поэты. Дружбы.

Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов

© Н. Громова, 2006, 2016

© Н. Коржавин. Послесловие, 2006, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Издательство CORPUS ®

* * *

*Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит наветвь,
Найдут и воскресят.*

Б. Пастернак.
Безвременно умершему

*Все, что со мной было в годы 1918–1922, я давно предчувствовал
и выразил, твердя без конца строки З. Гиппиус:*

*Покой и тишь во мне.
Я волей круг свой сузил.
Но плачу я во сне,
Когда слабеет узел...*

«Покой и тишь» – от «узла». О, как тихо в узле! Но рано или поздно уют узла пропадает: нет такого узла, который когда-либо кем-либо не был бы развязан или разрублен, и тогда... тогда узел оказывается веревкой. Она может служить бичом, плетью подгоняющей, ею можно связать и нанести раны. Ее можно привязать к крюку, к отдушине... И ее можно выбросить – и жить без веревок и без узлов.

С. Н. Дурылин
В своем углу. 22. VIII. 1926

Предисловие ко второму изданию

Со времени выхода первого издания этой книги прошло десять лет. За это время тема советской литературной жизни и литературного быта перешла из маргинальной в центральную тему истории литературы. Это сделало работу с подобным материалом более ответственной. Вышло очень много новых исследований, появились новые источники. Во втором издании мне удалось поправить те неточности и ошибки, которые с неизбежностью появлялись, так как этой темой почти не занимались специалисты; отлакированные книги о советской жизни, выходившие прежде, конечно, не в счет. Я благодарна всем критикам, которые заставили меня двигаться к улучшению моей работы.

Благодаря циклу лекций об истории литературного быта 20–50-х годов, которые я прочитала по просьбе И. А. Ерисановой в музее Пастернака, удалось систематизировать и структурировать основные темы этой книги. Она дополнена новыми главами, и более точно прописаны отдельные сюжеты.

Огромную помощь мне оказала Елена Лурье, без которой не могло бы быть целого ряда моих книг и исследований.

Предисловие

О советской литературе 30-х годов осталась мрачная память, оттого, наверное, целое поколение литераторов выпало из внимания историков. Собственно, и сами современники тех лет, чудом пережив ту эпоху, пытались вспоминать о ней как можно меньше.

Но «пропущенные» времена – своего рода роковая точка, куда то и дело возвращаешься, они снова и снова напоминают о себе.

Литература Серебряного века и 20-х годов признана и оценена по достоинству. Поэты и писатели последующего поколения какое-то время продолжали думать и писать в традиции начала века. Прошлая эпоха, во всем своем многообразии, осенила и советских писателей тоже. Еще в конце 20-х присутствие прежней традиции ощущалось у Багрицкого, Сельвинского, Тихонова, Луговского, Лавренева, Фадеева и даже у молодых комсомольских поэтов, хотя порой они и не подозревали об этом.

Но прошлое разрушалось последовательно и целенаправленно, и даже память о нем становилась опасна.

«Разгром», «Разлом», «Железный поток», «Котлован», «Голый год», «Шум времени» – названия знаменитых повестей и романов 20–30-х годов. Главная тема этих книг – Время, которое потребовало от человека полного отречения от себя... Сначала во имя великой идеи, а затем во имя сильной власти.

Разлом прошел по человеческим душам. Что писать? Как остаться самим собой? Любить, иметь друзей? Ответа не было.

В этом повествовании мы попытаемся пройти вслед за литераторами, искавшими разные пути в советской действительности. И теми, кто приспособился, и теми, кто прятался за переводы и писал «в стол», и теми, кто сопротивлялся и погибал, и теми, кто сломался.

Многие драмы того поколения писателей не могли попасть на страницы книг. Пожалуй, одному лишь Булгакову в потаенном романе «Мастер и Маргарита» удалось рассказать историю писателя 30-х годов, вынужденного выбирать между тюрьмой, сумасшествием и самоубийством.

Но реальность была еще трагичнее. Не было волшебных превращений, а до торжества справедливости оставались еще десятилетия...

«Искусство 20-х годов возникло из дружбы, – писал в дневнике Г. Козинцев. – Оно было неотъемлемо от дружбы. <...> Компании. Кружки. Объединения (ФЭКС, ЛЕФ). Потом Дома кино, худсовет. Большой худсовет. От дружбы к службе. От спора к инстанциям»¹.

С конца 30-х яркие личности, некогда объединенные творчеством и дружбой, стали превращаться в унылых литературных чиновников, желчных обитателей переделкинских дач, спивающихся завсегдатаев ресторанов, гонимых одиночек, связанных только случайными воспоминаниями.

Что соединяло поэтов и что их разъединяло? Почему в 20-е годы слово «друг» звучит так же часто, как и в пушкинскую пору, и почему к концу 30-х оно вытеснено безликими отношениями товарищей по литературным собраниям?

Герои тех лет много раз менялись ролями, то из гонимых они превращались в гонителей, а то, наоборот, гонители превращались в изгоев. Так было с И. Сельвинским, Вс. Ивановым, В. Шкловским, Ю. Олешей, М. Алигер и другими.

В едином пространстве сосуществовали – М. Булгаков и В. Маяковский, А. Ахматова и А. Фадеев, Б. Пастернак и Н. Тихонов; объем жизни был полон самого настоящего, подлинного драматизма. Каждый день приходилось делать выбор. Нельзя сбрасывать со счетов и того,

¹ Г. Козинцев. «Черное, лихое время...» М., 1994. С. 43.

что большинство художников поначалу не чувствовали разрыва между временем и собой – понимание приходило постепенно, и те, кто понимал, какова реальность, и те, кто старался ничего не замечать, и те, кто считал, что они приспособились, – сидели в одной клетке под названием Союз советских писателей. Отрывки из дневников и писем, воспоминания и рассказы – это гул голосов, позволяющих услышать многоголосие времени, почувствовать интонацию людей того поколения.

Жизнь «плохих» и «хороших» литераторов нуждается в своем исследовании. Увидеть эту жизнь в контексте времени на основании сохранившихся устных рассказов, домашних преданий – очень важно, так как еще можно застать свидетелей тех лет. Остались рукописи, письма и дневники – в них след уничтоженных произведений, сломанных судеб.

Борис Пастернак, занимающий в книге одно из центральных мест, сострадательно называл некоторых героев той эпохи «немыми индивидами». Не потому, что они молчали, а потому, что потеряли самих себя, слились с массой.

Советские писатели занимали в течение нескольких десятилетий «не свои» места. Отнимали воздух у других, изгнанных, непечатаемых, сосланных. Переиздавая свои тома и собрания сочинений, теснили тех, кто существовал в самиздатовских перепечатках. Для многих, даже хороших, литераторов – публикации стали в конечном счете их приговором. За последнее десятилетие произошла реакция замещения, исторически справедливая, но приведшая к очередному перекосу в понимании объема литературной жизни.

В начале 30-х годов Сталин решает объединить писателей под общей крышей. И не только в творческой деятельности – в Союзе писателей, но и в быту. Критик К. Зелинский вспоминал, что на встрече у Горького в октябре 1932 года, после разгрома РАППа, Сталин говорит: «...писательский городок. Гостиницу, чтоб в ней жили писатели, столовую, библиотеку большую – все учреждения. Мы дадим на это средства». Главная мысль Сталина при этом была такой: «Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы же производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар – души людей» (Зелинский замечает: «Помню, меня очень поразило это слово – «товар».). – «Да, тоже важное производство, очень важное производство – души людей»², – еще раз подтвердил Сталин.

Поначалу писателей селили в комнаты в знаменитом Доме Герцена («Грибоедове») на Тверском бульваре, начинающие пролетарские литераторы жили в общежитии на Покровке, 3, – это была еще демократическая юность советской литературы. Вскоре члены творческого союза получают квартиры на улице Фурманова, а с 1937 (!) года начнется заселение огромного писательского дома в Лаврушинском переулке.

Круг литераторов все теснее – они толкуются в ресторане Клуба писателей, на дачах в Переделкине, коллективно путешествуют, все больше убивают время на общих собраниях и пленумах.

В конце 30-х годов писательский улей жужжит почти единообразно – как большое и управляемое сообщество. Однако это лишь видимость. Официоз. Бытовая жизнь – с дружбой, любовью, разрывами – открывает подлинное лицо существования советской литературной среды. Отношения героев повествования были завязаны в сложный узел, в который вплетаются все новые и новые персонажи, отсюда и форма этой книги, где автор основных сюжетов – Время, по лабиринтам которого движутся судьбы литераторов.

На первый взгляд дружеская связь героев книги кажется произвольной: Б. Пастернак – Д. Петровский – Н. Тихонов – В. Луговской. У каждого из них были и иные друзья, и иные привязанности. Волны времени то прибывали их друг к другу, то разносили очень далеко. Была ли

² К. Зелинский. *Вечер у Горького (26 октября 1932 года)* // Минувшее. Исторический альманах. Т. 10. М.: СПб., 1992. С. 110–111.

тут закономерность, и есть ли вообще закономерности в потерях? Воспоминания порой вытесняют имена бывших друзей; это естественно – ссора, разрыв или предательство (что для 30-х годов особенно характерно) делали свое дело, люди отпадали, а память о них затягивалась рубцами.

Но каждый из них вместе со страной прошел и свой особый путь. Смог уцелеть, сохранить жизнь в страшных условиях сталинского террора. Как они прожили те трагические десятилетия – теряя или обретая себя? В этом – главный сюжет книги.

Пастернак, друживший с Тихоновым в 20–30-е годы, не мог писать о нем в воспоминаниях 50-х, ему было тяжело видеть изменившегося друга. А Луговской продолжал любить Тихонова; их роднила юношеская страсть к путешествиям и приключениям. «В эти страшные годы, что мы пережили, – говорил Б. Пастернак А. Тарасенкову в 1939-м, – я никого не хотел видеть, даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал глаза»³.

Эти слова Пастернака отразили наступление новых времен, в которых уже не было места свободному выражению чувств и привязанностей.

Эта книга не могла получиться без усилий большого количества людей, каждый из которых помогал рассказами, документами, советами. Я признательна за рассказы и воспоминания – ушедшим Л. Б. Либединской и М. И. Белкиной, Е. Б. Пастернаку, М. В. Седовой (Луговской), за помощь, замечания и сочувствие к моей работе – Е. В. Пастернак, А. М. Туркову, Л. В. Голубкиной, С. Е. Фроловой, Ю. А. Лурье, Е. Б. Лурье (Бирюковой), Б. Е. Белкину, В. А. Передерию, Г. Ф. Комарову, обществу «Мемориал» (О. Блинкиной). За предоставленные документы – А. С. Коваленковой.

Орфография и синтаксис публикуемых архивных документов приведены к современным нормам русского языка, за исключением тех случаев, когда они представляют собой особенности стиля автора документа.

³ Тарасенков А. *Пастернак. Черновые записи. 1934–1939* // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2005. Т. 11. С. 183.

Часть I

Двадцатые годы: «...что в личностях таилось как набросок»

Московский быт: 1921–1926 годы. Приметы времени

*Сердце угрюмо стучит с утра,
Стучит, как лудильщик на черных дворах...*
В. Луговской

Москву той поры отличал плотный, неповторимый быт, из которого и возникали многие незабываемые тексты того времени. Его приметы как фрагменты огромной мозаики рассеяны по стихотворным строкам, рассказам, повестям и романам.

Столица шумела по-особому: с улицы то и дело слышались крики: «Чайники, самовары лудить, примуса починять!»; им вторили из дворов старьевщики-татары, тянущие свое: «Старье берьем! Старье берьем!», и точильщики: «Точить ножи, ножницы!»

На кухне царил примус. Именно на нем все готовилось: варилось, жарилось и парилось. Лавки по починке примусов были на каждом углу. Горелки примуса постоянно забивались, и их надо было прочищать тонкой проволокой, если же прочистить не удавалось, примус несли чинить в лавку. Образ булгаковского кота с примусом – карикатура на типичную фигуру тех лет. ««Не шалю, никого не трогаю, починяю примус», – недружелюбно насупившись, проговорил кот», – это почти идиллическая картина жизни для советского обывателя периода нэпа.

В лавках не только чинили примусы, но и торговали керосином, которым примусы заправлялись. Булгаков в черновиках к «Мастеру» именует керосиновые лавки на более старинный лад – нефтелавками. Одна из них, в Сивцевом вражке, 22, появляется на страницах романа, где описан полет Маргариты над арбатскими переулками.

Она пронеслась по переулку и вылетела в другой, пересекавший первый. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружечками продают керосин и жидкость от клопов во флаконе...⁴

Примусы и керосинки обычно выстраивались на кухне, на большой чугунной плите, которая в прежней жизни топилась дровами и углем, а в 20–30-е годы использовалась как кухонный стол.

В квартире на Староконюшенном, рассказывала Мария Владимировна Седова (Луговская), дочь поэта, жил рыжий, потрепанный кот Яшка, который очень любил котлеты. Когда на сковородке в шипящем масле жарились котлеты, а хозяева были далеко, он вставал на задние лапы и аккуратно, поддев когтем, скидывал котлету на пол. Потом некоторое время он валял ее по каменному кухонному полу, чтобы она остыла, и, урча, съедал. Соседка, ее звали Сысоиха, была убеждена, что котлеты воруют Луговские, и кричала об этом каждый раз на всю квартиру до тех пор, пока однажды преступный кот не был пойман с поличным. Про Сысоиху знали еще, что она пишет доносы. Из квартиры напротив исчезла семья поляков, которых она посадила, обвинив в том, что они из окна подают лампой сигналы шпионам. В действительно-

⁴ Булгаков М. *Великий канцлер. Князь тьмы*. М., 2000. С. 529.

сти у семьи была лишь одна настольная лампа, и каждый вечер на длинном шнуре ее переносили из одного угла комнаты в другой, отчего создавалось впечатление, что свет в окне мигает.

Переводчик Боккаччо и Пруста Н. Любимов так вспоминал Москву этих лет:

Еще существовали китайские прачечные. Китайцы торговали на Сухаревском толкучем рынке чаем, который в магазинах «выдавали» гомеопатическими дозами по карточкам. А на бульварах «ходи» торговали чертиками «уйди-уйди».

На углу Кузнецкого и Петровки играл слепой скрипач, в холода повязывавший голову платком. Его картуз лежал на тротуаре, и туда сердобольные прохожие бросали мелочь. В крытом проходе между Театральным проездом и Никольской, близ памятника Первопечатнику, просил милостыню бронзоволицый старик с седыми космами по плечам. На груди у него висела дощечка с надписью: «Герой Севастополя». По Кузнецкому мосту, по правой стороне, если идти от Тверской, важно шагал от Рождественки до Неглинки величественный еврей и убежденно картавил:

– Гарантированное срдство от мозолей, бородавок и пота ног! Гарантированное срдство от мозолей, бородавок и пота ног!

Его перекрикивала разбитная бабенка – как видно, гроза своих соседей по квартире:

– Капсюли, капсюли для примусей! Капсюли, капсюли для примусей!⁵

Чертики, пищавшие «уйди-уйди-у»,
Пузырились, высунув красные жала;
Цветными огнями их отражала
Асфальтированная земля.
Но по-над тучей Кремля,
Шахматную повторя ладью,
С галкой, устало прикрывшей веко,
Являла пейзаж X века.

И. Сельвинский. Пушторг

Зима и осень в Москве – время галош и ботишков, которые надевались прямо на туфли с каблуками. Особенно модными были фетровые ботинки.

Приход весны в город в стихотворении В. Луговского знаменует стук каблуков по асфальту:

Все женщины сняли галоши и боты.
Стучат каблуки. Продают тоску.

Самовар служил самым разным целям. Утром, растопив его щепочками и угольями (труба всегда выводилась в форточку), ждали, пока он закипит, и опускали туда чистую наволочку с яйцами на две-три минуты. Так получались яйца всмятку.

Москва бурно разрасталась. После революции появилось множество новых учреждений. Прежняя Москва – низкая, с палисадниками и заборами, запущенными садами, возле которых в начале века выросли доходные дома, мало подходила на роль столицы огромного государства. В городе почти не было больших зданий и площадей, как в имперском Петрограде, где могли бы расселиться растущие день ото дня советские учреждения. Поэтому Москва трещала по швам. «Москва с размаху кувырнется наземь...» – писал в романе в стихах «Спектор-

⁵ Любимов Н. *Неувядаемый цвет*. М., 2000. С. 228.

ский» Пастернак, и действительно, тот домашний город, который называли «большой деревней», уходил в прошлое.

Трехактное обозрение времени нэпа «Москва с точки зрения» на тему перенаселенности столицы открывало в 1924 году Московский театр сатиры. Авторами его были Н. Эрдман, В. Масс и В. Типот. Оно рассказывало о том, как в Москву приезжает семейство провинциалов, которое ищет квартиру, ходит на литературные диспуты, сдает экзамен по политграмоте. В комнате, которую они снимают, множество других жильцов, кто-то живет в умывальнике, кто-то в пианино, кто-то в шкафу, точнее, в каждом отделении шкафа: одежном, посудном и в нижнем ящике. Но гротескные сцены новой уплотненной Москвы выглядели абсолютно правдоподобно. Уплотненные квартиры, превращенные в многонаселенные коммуналки, стали на десятилетие одной из ведущих тем во всех областях искусства: от литературы до кинематографа.

Для того чтобы жители могли добираться от своих углов в коммуналках до места работы, по Москве протянули нити трамвайных путей. По городу задвигались переполненные трамваи, предупредительными звонками разгоняющие пешеходов. Трамвай надолго стал самым демократичным видом транспорта.

Семнадцатого ноября 1925 года в «Вечерней Москве» был опубликован очерк Веры Инбер «А.Б.В.» о трех трамвайных кольцах. В нем она делит москвичей на три части: одна – мечется по улицам, вторая – сидит дома, третья – стоит в трамваях (сидячих мест мало).

От Страстной площади «А», нагруженный как верблюд в пустыне, лезет к Трубе (Трубной площади), а оттуда медленно вползает к Сретенке. Его населяют портфели, кожаные кепи, куртки и иногда шубы. Население трамвая разное. Те, которые стоят в самом вагоне, и те, которые на площадке. Оба эти сословия ненавидят друг друга. Тем, кто стоит на площадке, кажется, что вагон пуст, и они настойчиво требуют «продвинуться вперед». Стоящие внутри доказывают, что вагон не резиновый... До Покровских ворот трамвай «А» безумно переполнен. У Остоженки снова насядет народ... Кольцо «Б» проходит по рынкам... Здесь садятся армяки и тулупы, в руках корзины и кульки⁶.

На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки...

Н. Заболоцкий. Столбцы

Трамвайными петлями разрисована Москва в стихах Пастернака той поры и в «Двадцати строфах с предисловием (зачаток романа «Спекторский»)»:

И улица меняется в лице,
И ветер машет вырванным рецептом,
И пять бульваров мечутся в кольце,
Зализывая рельсы за прицепом.

⁶ Цит. по: Андреевский Г. *Жизнь Москвы в сталинскую эпоху*. М., 2003. С. 77.

«В переполненном трамвае, – пишет в дневнике молодой писатель Григорий Гаузнер, – кондуктор, нагнувшись и оперевшись руками в спину, задницей отталкивает теснящихся пассажиров. Так висят они большой гроздью, ухватившись кто за что в невероятных позах»⁷.

Несколько лет нэпа изменили Москву. Она избавлялась от следов военного коммунизма, город становился чище, начиналось бурное строительство. Из бывших комиссаров нарождался вид нового советского чиновника, что стало темой целого ряда литературных произведений.

В неопубликованном стихотворении «Коммунист» 1924 года В. Луговской писал:

Та же темная, скучная вера,
Речь тверда, как три года назад.
Только словно два камешка серых
Там, где раньше были глаза.
Так же крепко давит окурки
Рот не толще края ножа.
Только вместо кожаной куртки
Ловкий портфель и ладный пиджак,
А лицо как лицо – простое,
Не умно и не глупо: как все.
Но на лбу – бычачьи устои
И железных морщинок сеть.
Все несложно, машинно и ясно,
Жизнь – не спать, не мечтать и не петь.
Мир в 2 цвета: белый и черный,
Цель – холодный напор Р.К.П....

Москва. Кремль

Интересно, что это стихотворение будущего советского поэта, а пока – просто молодого человека, который служит в Управлении делами Кремля.

Новый советский чиновник «разлагался так же быстро, как возникал». Об этом в 1925 году пишет в своем дневнике М. Булгаков:

– Чем все это кончится? – спросил меня сегодня один приятель.

Вопросы эти задаются машинально, и тупо, и безнадежно, и безразлично, и как угодно. В его квартире, как раз в этот момент, в комнате через коридор, пьянствуют коммунисты. В коридоре пахнет какой-то острой гадостью, а один из партийцев, по сообщению моего приятеля, спит пьяный как свинья. Его пригласили, и он не мог отказаться. С вежливой и заискивающей улыбкой ходит к ним в комнату. Они его постоянно вызывают. Он от них ходит ко мне и шепотом их ругает. *Да, чем-нибудь все это да кончится. Верую!*⁸

⁷ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 246.

⁸ Булгаков М. *Дневник. Письма*. 1914–1940. М., 1997. С. 85.

Узлы и «узловцы»

В домашнем архиве Владимира Луговского хранится амбарная книга, в которой велись протоколы заседаний правления книгоиздательства «Узел». Там же находится и напечатанный на мягкой желтоватой бумаге устав, свидетельствующий о том, что в 1925 году и написание стихов, и изготовление гвоздей кустарями-артельщиками считались совершенно равнозначными производственными процессами. За основу «Устава Промыслового Кооперативного Товарищества поэтов под наименованием Книгоиздательство «Узел» был взят типовой «Устав Промысловой Трудовой Кооперативной Артели». Внесенные в него изменения, сделанные от руки, коснулись лишь шапки этого документа. В результате в разделе «Общие положения», например, указывается, что «промысловая кооперативная артель поэтов... имеет целью содействовать материальному и духовному благосостоянию своих членов», а также что «заготовка необходимых для производства артели материалов и сбыт ее изделий не ограничивается вышеуказанным районом».

Секретарем правления стал В. Луговской – аккуратным гимназическим почерком велись протоколы заседаний правления артели, поражающие сегодня числом как известных, так и забытых поэтов, побывавших здесь.

Слово «узел» как нельзя более подходило для названия наскоро и ненадолго связанных литературных судеб. Станным образом здесь сошлись известные и даже знаменитые – Б. Пастернак, С. Парнок, С. Федорченко, М. Зенкевич, Б. Лившиц, П. Антокольский и молодые – И. Сельвинский, В. Луговской, А. Чичерин и другие. Объединила их не общность творческих интересов, а необходимость издавать свои поэтические книги в новую эпоху.

Литераторам в эти годы было трудно прожить, не состоя на какой-нибудь службе.

М. Булгаков так же, как и Ю. Олеся, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров, работал в газете «Гудок», Б. Пастернак – составлял библиографию трудов Ленина, часть «узловцев» жила переводами, многие члены литературных кружков и объединений служили в ГАХНе (Государственной академии художественных наук).

Творчеству посвящалось свободное от службы время.

Одним из учредителей «Узла» был Петр Никанорович Зайцев, который в 1922 году основал газету «Московский понедельник». Она, хоть и просуществовала всего несколько месяцев, была весьма популярна. В 20-е годы – редактор ГИЗа, затем секретарь издательства «Недра», которое напечатало «Роковые яйца» М. А. Булгакова, Зайцев умел объединять писателей и поэтов между собой, собирая их то в редакции, то дома...

Мы неожиданно вновь оказались вместе в небольшом поэтическом кружке, – вспоминал Лев Горнунг, – который возглавил нескладный, нелепый, чудаковатый человек – поэт П. Н. Зайцев. Это был добрый человек, но малоталантливый поэт. Зайцев был до самозабвения предан Андрею Белому и в угоду ему считал себя тоже антропософом, хотя этой философии не знал и путался в ней... Его стихи были написаны довольно лево и очень далеки от всякой классики. Ему удалось напечатать небольшую книжечку своих стихов. Для нее он придумал название, весьма типичное для его мышления «Новое солнце». Мои стихи он считал слишком ясными и понятными для всех, слишком близкими к классической поэзии и рекомендовал мне при писании стихов «становиться на голову»⁹.

Связи П. Зайцева помогали издательству выпускать поэтические книжки.

⁹ РГАЛИ, Ф. 2813. Оп. 1. Ед. хр. 4.

Теперь, работая в ВЦСПС и постоянно держа тесную связь с типографией, я смог обеспечить наш кружок полиграфической базой. «Узел» выпустил десять очень чистенько изданных больших книжек разных авторов в общем, картонном футляре¹⁰.

Марку издательства поручили сделать художнику-граверу Владимиру Андреевичу Фаворскому.

Всего книжек было выпущено не десять, а четырнадцать; в начале 1926 года Петр Никанорович перестал заниматься делами издательства, он фактически становится литературным секретарем Андрея Белого.

Близость к известному поэту принесла Зайцеву серьезные неприятности. Хотя сложности начались и раньше. ОГПУ держало писательские сообщества под контролем. Именно поэтому Зайцев регулярно оказывается на Лубянке.

На Лубянку попал я впервые летом 1924 года (не знаю – по случайному поводу или преднамеренно), – вспоминал он. – Обращение со мной было мягкое, деликатное. Я был тогда в переписке с Ангарским, который находился в Берлине. Через пять дней меня отпустили¹¹.

С 1930 года начались гонения на антропософов, уничтожаются остатки московских религиозно-антропософских кружков. Зайцева арестовывают дважды – в мае 1931 года и в 1935-м. Ему инкриминировалось чтение и распространение произведений А. Белого. Но в 1938 году ему посчастливилось выйти на свободу.

В конце 20-х Зайцев жил в доме № 5 по Староконюшенному переулку, до революции принадлежавшем купцам Коровиным. По описаниям Л. Горнунга, это был подвальный этаж с окнами чуть выше тротуара, где у Зайцева было две комнаты, одна из которых – довольно большая и с высокими потолками. Во дворе дома стоял (и по сей день стоит) пятиэтажный дом № 15, где на первом этаже жила с 1922 года семья Луговских.

Близкое соседство домов Зайцева и Луговского делало возможным проведение некоторых заседаний в квартире последнего. Об этом свидетельствует небольшое письмо Софьи Яковлевны Парнок, с середины 1926 года руководившей артелью:

Напоминаю Вам, милый Владимир Александрович, – писала она 4 апреля 1927 года Луговскому, – что в среду 6-го в 8 часов вечера у Вас будет заседание Правления «Узла», поэтому не забудьте, пожалуйста, вовремя быть дома. Прошу Вас, приготовьте рукописи стихов Зилова, Волошина и Липскерова и подумайте о дальнейших наших издательских планах: это будет обсуждение, и желательно было бы выслушать обдуманное предложение. Я приду в 8 часов, и со мной вместе придет к Вам Анна Ив. Ходасевич: у нее к Вам литературное дело.

С сердечным приветом С. Парнок¹².

Соседство домов и улиц позволяло поэтам и писателям, населяющим в эти годы арбатские переулки, переходить из дома в дом, общаться накоротке. Неудивительно, что Петр Зайцев чувствовал сопряженность города и его сообществ, накладывая на карту московской местности карты литературной жизни:

¹⁰ Зайцев П. Н. *Первая Московская литературная газета «Московский понедельник»* // Минувшее. Исторический альманах. Т. 13. М., 1993. С. 55.

¹¹ Зайцев П. Н. *Первая Московская литературная газета «Московский понедельник»*. С. 218.

¹² Подробнее см.: Громова Н. *Хроника поэтического издательства «Узел». 1925–1928*. М., 2006.

Как будто ее кварталы, улицы, тупики, Поварские, Ордынки, Пречистенки, Козихинские переулки и все эти Собачьи Площадки породили бесчисленное множество направлений, течений, групп, и группировочек, и кружочков, от которых эти поэты выступают...

И несколькими абзацами ниже:

Традиций в Москве не ищите... Но неожиданно атавистически может возникнуть в ней идейный изгиб, соединяющий тайными нитями новое с дальним, прошедшим¹³.

¹³ Рукопись предисловия к антологии московских поэтов. Цит. по: П. Н. Зайцев. *Воспоминания* / Сост. М. Л. Спивак; вступ. ст. Дж. Малмстада, М. Л. Спивак. М., 2008. С. 17, 18.

Софья Парнок. Вполголоса

«Кажется, совсем забыта теперь Софья Яковлевна Парнок, – вспоминал А. Чичерин, известный филолог, а тогда один из членов артели, – тонкая, вдохновенная поэтесса со строгим обликом, всегда напоминавшая мне Гёте. Тихим голосом, со склоненною головою, отчетливо выделяя мелодию, читала она свои стихи:

И ныряют уточки в голубой воде,
А на тихом озере – тихо, как нигде»¹⁴.

Софья Яковлевна Парнок относилась к «Узлу» очень серьезно и прагматично; два с лишним года она вела дела издательства. Собрания часто проходили у нее в комнате, в доме в 1-м Неопалимовском переулке, где она жила со своей подругой математиком Ольгой Николаевной Цубербиллер. «Мой утешный, мой последний, / Мой благословенный друг», – так Софья Яковлевна называла ее в стихах. Через несколько лет именно Ольга Николаевна и похоронила поэтессу на Введенском кладбище.

Первый Неопалимовский переулок находится недалеко от арбатского Староконюшенного переулка, надо только пересечь Садовое кольцо. По воспоминаниям дружившего с ней в эти годы Льва Горнунга, Парнок жила в красном кирпичном доме на четвертом этаже. Из окна открывался «зимний пейзаж – снежные крыши и купол Неопалимой Купины»¹⁵, – писала сама С. Парнок.

Коленями – в жесткий подоконник,
И в форточку – раскрытый рыбий рот!
Вздохнуть... вздохнуть...
Так тянет кислород,
Из серого мешка, еще живой покойник...
Светает. В сумраки оголены
И так задумчивы дома. И скуп
Над крышами поблескивает купол
И крест Неопалимой Купины...

Эти годы ее тяжело мучила базедова болезнь. Она недавно вернулась из Крыма, где в Судак у сестер Е. и А. Герцык спасалась то от красных, то от белых. Ее стихи этого времени говорят о готовности к смерти, но при этом она очень деятельна. Вот картинка одного из заседаний «Узла» в ее стихотворении, посвященном Вере Звягинцевой:

Папироса за папирсой.
Заседаем, решаем, судим.
Целый вечер рыжеволосая,
Вся в дыму я мерещусь людям.

Восемь открыток и писем, сохранившихся в архиве Луговского, свидетельствуют о постоянных, упорных попытках Софьи Яковлевны выстроить издательство. Только однажды она напишет, что устала, что у нее больше нет сил бороться.

¹⁴ Чичерин А. *Давние годы*. М., 1985. С. 267.

¹⁵ Парнок С. *Статьи. Письма. Стихи* // De visu. 1993. № С. 24.

Она всегда была верна дружбе. Несмотря на свое предрасположение к женщинам, по отношению к друзьям-мужчинам сохраняла верность и преданность. После голодных крымских лет в Судак в Москве делала все возможное, чтобы помочь другу – М. Волошину, которого в то время почти не печатали. Заочно включила его в члены артели. Пыталась выпустить его сборник, который никак не мог пройти цензуру; он должен был называться «Семь поэм».

Девятого февраля 1927 года Парнок пишет Луговскому: «Ходят слухи, что Волошин приезжает 9-го, т. е. сегодня. Надо устроить, чтобы он читал в «Узле» в будущую среду. Он останется у Шервинского...»¹⁶ А Луговской помечает в своем ежедневнике: «8 марта, вторник – Волошинский вечер. 9 марта, среда – доклад Шервинского».

Когда умерла ее любимая подруга А. Герцык, Парнок хотела поместить в альманахе «Узла» некролог и подборку ее стихов, но не смогла этого сделать: устав запрещал публиковать стихи не членов артели. А кроме того, стихи ушедшей поэтессы не прошли бы цензуру, в них слишком часто звучало слово «Бог».

В «Узле» Софья Парнок подружилась с Софьей Федорченко, детской поэтессой, автором документального эпоса «Народ на войне», который беззастенчиво использовали многие, писавшие о Гражданской войне, в том числе и Алексей Толстой.

Главные неприятности артели были связаны с цензурой: не допущен к печати сборник М. Кузмина, сокращена в два раза книга Б. Лившица, рассыпают набор сборника «Вереск» Е. Васильевой (Черубины де Габриак) – в 1926 году была запрещена деятельность антропософского кружка, куда она входила, а затем последовала ссылка в Ташкент и скорая смерть – в 1928-м.

Безнадежность звучит в стихотворении С. Парнок, интонационно и содержательно близком к мандельштамовскому «Жил Александр Герцович»:

Налей, мне, друг, искристого
Морозного вина,
Смотри, как гнется истово
Лакейская спина.

Пред той ли, этой сволочью, –
Не все ли ей равно?..
Играй, пускай иголки,
Морозное вино!

.....

Но что ж, богатство отняли,
Сослали в Соловки,
А все на той же отмели
Сидим мы у реки.

Не смоешь едкой щелочью
Родимое пятно...
Играй, пускай иголки,
Морозное вино!

¹⁶ Громова Н. *Хроника поэтического издательства «Узел»*. С. 60–61.

«...Перевожу я такие ужасы, – писала Софья Парнок Вере Звягинцевой 22 февраля 1928 года, – что даже ночью они мне снятся: пытки, расстрелы, еврейские погромы, крушение поездов (рассказы Барбюса). Вероятно, и это нужно в общем плане моей судьбы...»¹⁷

Перспектива жизни отдельного человека была столь же туманна, как и направление движения государства и общества в целом. После смерти Ленина каждый спрашивал себя: «Что же теперь будет?» Писатели тоже старались угадать будущее.

Но иногда смерть это будущее опережала. С последней фотографии, которую сделал ее друг Лев Горнунг, смотрит нездоровая женщина с горькой улыбкой, в то время ей было всего сорок семь лет.

Софья Парнок умерла 26 августа 1933 года в селе Каринском под Москвой. Везли ее в город на телеге в деревянном ящике. На панихиде было довольно много людей – среди прочих Б. Л. Пастернак, Л. Я. Гуревич, Г. Г. Шпет, похоронили ее на немецком кладбище в Лефортове.

¹⁷ РГАЛИ. Ф. 1720. Оп. 1. Ед. хр. 200.

Александр Ромм: из рассыпанного поколения

Ал. Ил. Ромм, старший брат Михаила Ильича, кинорежиссера, был чудесным тонким поэтом. А между тем его книга «Ночной смотр», вышедшая в красивой черной обложке, затерялась среди множества других книг...»¹⁸ – отметим, что переводчик и лингвист Александр Ильич Ромм, о котором так тепло отзывался А. Чичерин, издал в «Узле» свой единственный поэтический сборник и вскоре полностью скупил его тираж. 12 июля 1927 года Софья Парнок рассказала об этом факте Софье Федорченко:

...Сообщаю Вам интересную новость: Ромм, увидев свой сборник напечатанным, загрустил, всполошился, отчаялся и, как я его ни уговаривала, решил скупить у «Узла» все издание, чтобы забрать его к себе и не пускать в продажу. По этому поводу он долго терзался и мучил также и меня. Я брала его Подколесиным, а теперь думаю, что он правильно поступил. Благодаря «Узлу» у меня накопился любопытный опыт: вспомните одержимого Чичерина, который, рассудку вопреки, наперекор стихиям все-таки издал свой слабый сборник и пребывает в самодовольстве, а теперь другая крайность – Ромм, который до того опечалился и разочаровался своим первым сборником, что от горя скупил весь тираж «Узла». Это очень любопытно¹⁹.

Я стою в лесу и расту сосной,
И ветер лесной
Играет со мной.
Я шишки роняю наземь свои,
И глухо в хвою ложатся они,
Пока смерть далека, пока лень ей.

Я семенем тонким в шишке лежал,
Я всех соседей по имени знал,
Мы жили в своем колене.

Та шишка сгнила сто лет назад,
Кругом соседи мои стоят,
И кто мне чужой? И кто мне брат?
Рассыпалось поколение.

Такой своеобразной эпитафией Ромм уже в 20-е годы определил отсутствие места для своего культурного слоя в новой литературной и исторической реальности.

Александр Ромм родился в Петербурге в семье врача. В Москве он окончил гимназию в 1916 году и поступил сначала в медицинский МГУ, а оттуда перевелся на историко-филологический факультет. Поэт, переводчик, участник Московского лингвистического кружка. В тридцать лет он назначил себе переломить свою судьбу. В биографическом очерке, посвященном поэту, М. Л. Гаспаров приводит его «письмо о судьбе», в котором накануне 1928 года Ромм пишет:

¹⁸ Чичерин А. *Давние годы*. С. 267.

¹⁹ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 95.

«Интеллигент вспоминает о судьбе, только когда большое горе пригибает его к земле... Земля, из которой мы растем, есть народ... Если в системе есть тяжелое и злое, оно неизбежно выпадет на чью-то долю: почему же не на твою? От сумы и тюрьмы не отказывайся».

Он оставляет филологию, перестает писать такие стихи, как здесь публикуемые, пишет о Ленине и Сталине, о стройках, об армии и флоте, газетные агитки и большие поэмы, пишет не за страх, а за совесть, в дневнике корит себя за интеллигентскую мягкотелость, но в печать пробивается нечасто: у системы было чуткое ухо, и она слышала, что голос его недостаточно чист. Сума и тюрьма его миновали, он умер иначе: в октябре 1943 г. застрелился на фронте²⁰.

Но тут следует добавить еще, что в начале войны А. И. Ромм был мобилизован в Дунайскую военную флотилию в качестве писателя в звании интенданта II ранга. Служил на Черноморском флоте, писал пьесы, очерки, стихи. Причины его самоубийства по сей день неясны. Судя по открыткам его брата М. И. Ромма, он просил сестру не искать правды и смириться с этой смертью. По воспоминаниям современников, М. И. никогда публично не вспоминал о брате, хотя достоверно известно, что очень любил его и считал его влияние на себя огромным.

²⁰ <http://sites.utoronto.ca/tsq/02/romm.shtml>

Из одного «Узла». Пастернак

Сборник «Избранные стихи» Б. Пастернака вышел в «Узле» в 1926 году. На книге, подаренной Луговскому, оставлен автограф загадочного содержания: «Хаотическому человеку в хаотической комнате в знак нежной моей любви к нему Луговскому. Б. Пастернак». Может быть, эта надпись была сделана в Староконюшенном на одном из собраний «Узла», проходившем в захлавленной комнате молодого поэта.

Разница в возрасте между ними для того времени была огромна – одиннадцать лет. Они принадлежали не просто к разным поколениям – в то время годы рождения – 1890-й и 1901-й – часто указывали на исторический разрыв; Борис Пастернак родился в 1890 году и прожил часть жизни до революции, а Владимир Луговской родился 1901-м и на момент революции был шестнадцатилетним юношей, не успевшим еще сформироваться.

Но их жизненные маршруты пересекались постоянно, начиная с имения Оболенского, где семья Пастернаков снимала в 1903 году дачу, где по соседству с ними жил А. Н. Скрябин, а юный Пастернак «сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн»²¹.

Об этом имении Татьяна Луговская вспоминала: «...В Оболенское мы приезжали как к себе домой. Все нас здесь знали. Раиса Михайловна Оболенская (владелица имения) высылала за нами линейку и подводу для багажа»²².

Семья Пастернака в 10-х годах поселилась на Волхонке в доме Художественного общества, а в соседнем Знаменском переулке располагалась Первая мужская гимназия, где преподавателем литературы и инспектором старших классов служил А. Ф. Луговской, отец В. Луговского. В гимназии учились Н. Бухарин, И. Эренбург, будущий лингвист А. Яковлев, затем В. Ардов, Д. Благой.

Позже, когда Пастернак ушел из родительского дома, он снимал комнаты то в Нащокинском, то в Лебяжьем, то в Сивцевом Вражке, петляя переулками возле родительской Волхонки.

После отъезда родителей в 1921 году в Берлин Борис Леонидович вместе с молодой женой Евгенией Владимировной вернулся на Волхонку, где в соседней комнате жил его брат Александр со своей женой Ириной Вильям.

Письмо Пастернака родным за границу в 1924 году почти полностью посвящено городу, в котором он родился, который всегда любил, а теперь говорил о нем с нескрываемым раздражением:

Странно попадать в Москву после Петербурга. Дикий, бесцветный, бестолковый, роковой город. Чудовищные цены. <...> Чудовищные неудобства. <...> Чудовищные мостовые. <...> Я сидел, взлетал на воздух, падал и взлетал при перескоках через круглые канализационные крышки и, глядя на эту топчущуюся в сухой извешке толпу, понял, что Москва навязана мне рождением, что это мое пассивное приданое, что это город моих воспоминаний о вас и вашей жизни...²³

В этом же письме он рассказывает родителям, как искал в Оружейном переулке дом, где родился, о котором они вспоминали. Как плутал по переулкам и наконец обнаружил дом, где отец начинал свою карьеру, из которого «повел свой корабль через Мясницкую, Волхонку, за границу, семью, жизнь в шести душах».

Пастернак ищет их следы в родном городе и остро чувствует свою бесприютность, поэтому ему так важно заселить Москву близкими людьми.

²¹ Пастернак Б. *Избранное*: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 138.

²² Луговская Т. *Как знаю, как помню, как умею*. М., 2000. С. 19.

²³ Пастернак Б. *Письма к родителям и сестрам*. М., 2004. С. 236.

Тем более что в это время круг общения поэта стал сжиматься, дружба с Маяковским и Асеевым переживала трудности. Зато возникла напряженная глубинная связь через письма и стихи с Мариной Цветаевой.

В те дни, когда Пастернак еще был связан с «Узлом», Цветаева написала ему двусмысленное письмо-просьбу о помощи своей подруге – С. Парнок. Цветаева к письму приложила стихотворение «Подруга» и не скрывала, что в 1915 году их связывали близкие отношения. Хотя Цветаева, которой издаелека мерещились жуткие картины российской жизни, не в первый раз просила за знакомых, письмо вызвало ревность Пастернака. Он отвечал очень резко:

...не отзываюсь на письмо о Парнок. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда каши мы с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла», отчасти из-за нее²⁴.

Весной 1926 года отношения между Пастернаком и Цветаевой переживали высшую степень напряжения, он послал ей сборник «Узла» с надписью: «Марине, в день, с которого все принадлежит ей. Вместо открытки. В день наводнения в Москве. 1926 г.»²⁵.

Потом Цветаева объяснит их с Пастернаком так и не случившуюся жизнь – ведь грезилась именно жизнь – в письме их общей знакомой Р. Ломоносовой, уже в 1931 году, когда женой Пастернака будет не Евгения, а Зинаида:

– С Борисом у нас вот уже (1923 г. – 1931 г.) – восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга. Но Катастрофа встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка – перекаты грома, и опять ничего – живешь.

Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла – то только к нему. Вот *мое* отношение. Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья – он, его семья, моя *жалость*, его совесть)²⁶.

В 1925–1930 годах Пастернак писал роман в стихах «Спекторский». Как замечено в книге В. Альфонсова о поэтике Пастернака, в этом романе сразу же заявлен принцип случайности. Связи, потери, обретения. Автор говорит, что и роман задуман им случайно.

Сергей Спекторский – герой, близкий автору, потерял любимую женщину. Она внезапно исчезла, ускользнула из жизни героя после революции.

В начале романа автор, собирающий библиографию трудов Ленина, находит ее стихи на страницах западных журналов. И похоже, что та беглянка писалась с Марины Цветаевой, с неслучившейся их любви в начале 20-х годов. Любви на фоне хаоса, ломки быта. Спекторский – не уверенный в себе интеллигент, вечно выбирающий между двумя женщинами, зажатый между прошлым и настоящим, не определившийся по отношению к власти. И в то же время горько оплакивающий свое поколение, разорванное на тех, кто здесь – в России и кто – вне ее. Любовь героя к Марии Ильиной – еще и метафора любви ко всем, кого нет рядом.

В поэме оживает Москва – черных лестниц, разрушенных домов и квартир, брошенного и национализируемого имущества.

Кругом фураж, не дожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей, шарахнутых врасяг.

²⁴ Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 673.

²⁵ РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед. хр. 108.

²⁶ Цветаева М. *Собр. соч.*: В 7 т. М., 1995. Т. 7. С. 329.

Пастернак спустя три года объяснял в письме своему издателю П. Н. Медведеву, что когда он писал свой роман в стихах, надеялся на изменение действительности, думал, что разрыв между миром тем и миром этим сотрется.

Для него состояние вечной разлученности с близкими – невыносимо тяжело: «...точно разлука не является названием того, что переживается в наше время большим, слишком большим количеством людей». И через несколько слов горестно прерывает себя:

Скажу только, что в моих словах нет ничего противозаконного, и если здоровейшей пятилетке служит человек со сломанной ногой, нельзя во имя ее здоровья требовать от него, чтобы он скрывал, что нога его укорочена и что ему бывает больно в ненастье²⁷.

В этих словах, сказанных в 1929 году, печально отзовутся былые надежды на так и не преодоленную разлуку с Цветаевой.

В московский ближний круг, который в письме к жене Пастернак определяет как «наша семья», в середине 20-х годов входит и поэт Дмитрий Петровский.

Петровские (Дмитрий с женой Марикой Гонтой) приехали в Москву с Украины и некоторое время жили у Пастернака на Волхонке в комнате Александра, пока он в 1925 году ездил к родителям в Германию.

Марика Гонта вспоминала о тех днях:

Некоторое время мы жили в комнате брата Бориса, Александра Леонидовича, пока не получили ордер на жилье, и каждый день то явно, то прислонясь к косяку больших дверей в гостиной, которую занимал Борис, я не отрываясь слушала его игру. Я ждала этих концертов каждый вечер, то наяву в упор, то исподволь, получая на них неожиданный абонемент.

Думаю, что в этот месяц я научилась слушать Бориса и эта привычка осталась у меня на всю жизнь. Я никого так не слушала: в разговоре, в стихах, в языке, в молчании концерта или оркестра²⁸.

За месяц до выхода из «Узла», о котором Пастернак писал Цветаевой, а именно в апреле 1926-го он отправил П. Н. Зайцеву письмо со словами заступничества за Дмитрия Петровского:

19 марта 1926, Москва

Дорогой Петр Никанорович! Горячее мое желание и, соответственно этому, просьба к Вам, чтобы книжка Петровского была издана в весенней серии. <...>

С Петровским надо было обойтись как с ребенком в этом вопросе, как мы с Вами об этом условились. Простите, Вам, верно, это все надоело, Вы вправе мне сказать, что я от всех трудностей отстранился и не мне бы приступать с советами. Но это именно не *совет*, а горячая настойчивая просьба с моей стороны, и меня огорчит, если Вы обойдете ее вниманьем...²⁹

Трогательная строчка из письма Бориса Леонидовича: «С Петровским надо было обойтись как с ребенком...» – многое объясняет в самом Пастернаке и отсылает к началу их дружбы в 1914 году.

²⁷ Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 356.

²⁸ Семейный архив Пастернака.

²⁹ ИМЛИ. Р. О. Ф. 15. Оп. 2. № 107.

Дмитрий Васильевич Петровский – фигура эксцентричная и одиозная. Поэт, анархист, партизан, воевавший вместе со Щорсом (у кого еще, кроме земляка Петровского – Нарбута, была столь экзотическая биография!). Его воспоминания о Хлебникове специалисты считают не вполне точными (они не переиздавались с 1926 года). Стихи Петровского почти забыты, и только в воспоминаниях о Пастернаке его имя нет-нет да и мелькнет.

Встреча с письмами Петровского была тоже странной. Из вороха бумаг Луговского вдруг стали возникать огромные бумажные простыни, исписанные синим или простым карандашом и испещренные восклицательными знаками, междометиями и даже, как показалось, выкриками...

Петровский. «Наследник традиции поэтического безумия»

После революции были еще прочными прежние поэтические знакомства. Принадлежность к тому или иному поэтическому объединению превращала жизнь его членов в служение некоему рыцарскому братству. Не случайно Петровский в своих воспоминаниях о Хлебникове приводит документ, сочиненный ими в послереволюционные дни и отправленный наркому А. Луначарскому:

Все творцы: поэты, художники, изобретатели должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов. Им, на основании особо выданных документов, должно быть предоставлено право беспрепятственного и бесплатного переезда по железным дорогам, выезд за пределы Республики во все государства всего мира. Поэты должны бродить и петь.

При всей причудливости замысла он отражал вполне понятное желание закрепить особый общественный статус свободного художника, исторически сложившийся. Существовали, разумеется, и неписанные правила поведения художников, их взаимоотношений с миром и друг с другом. Для многих важно было не только искусство, но и поведение в быту, поэзия поступка. Согласно этим правилам Петровский и творил свою биографию. Вот два сюжета. О первом – чрезвычайно показательном – в письме Пастернака С. Боброву:

Заявился ко мне в Москве Дм. Петровский. С сияющим лицом оповестил меня о том, что ЦФГа (Центрифуга. – Н. Г.) ему ненавистна, что тебе он будет мстить за Петникова (или Божидача), а Вермелью за Хлебникова. Если в немедленном спуске его с лестницы произошла задержка, то только потому, что на мои слова, что я его просто-напросто знать не желаю, чужак этот ответил: «Но ведь как к человеку вы можете ко мне иначе отнестись»³⁰.

И Бобров, и Вермель – это издатели, которым Петровский считал необходимым мстить за унижение поэтов, которых не издали. И с Пастернаком он говорит сначала театрально – как собрат поэтов, а затем как обыкновенный человек. На демонстрации такого поведения он будет десятилетиями строить свою судьбу. Это отчасти и обеспечивало ему расположение Маяковского, Тынянова, Шкловского, Тихонова и других известных современников.

Вторая история почти гротескная, ее описывает Елизавета Черняк (жена Я. Черняка) в своих воспоминаниях о Пастернаке:

Помню забавный случай. Я лежала дома, болела. Вдруг утром является Петровский и объясняет: «Я на минутку – оставить галоши. Мне надо тут поблизости пойти бить одного человека. Так неудобно бить в галошах». Оставил галоши и ушел. Через 15 минут вернулся: того человека не оказалось дома. Петровский разделся, подставил? голову под кран в кухне (рядом с которой была наша комната), отфыркался, зашел в комнату и попросил бумагу и перо. Наверное, час сидел за столом, писал и перечеркивал стихи.

Потом встал, сказал: «Уф! Теперь мне легче», – скомкал все написанное, бросил в корзину и ушел³¹.

Дружба Пастернака и Петровского началась при странных обстоятельствах. Об этом пишет сам Пастернак в альбоме А. Крученых:

³⁰ Петровский Д. *Воспоминания о Хлебникове*. М., 1926. С. 21 (впервые: ЛЕФ. 1923, № 1).

³¹ Борис Пастернак и Сергей Бобров: письма четырех десятилетий // *Встречи с прошлым*. М., 1996. Вып. 8. С. 250.

Ловец на слове А. Крученых заставляет записать случайные воспоминания. В 1915 году летом одному моему другу, тогда меня не знавшему и замышлявшему самоубийство поэту, встретив его в покойницкой у тела худ. Макса и разгадав в нем кандидата в самоубийцы, сестры Синяковы сказали: «Бросьте эти штучки! Принимайте ежедневно по пять капель Пастернака». Так Петровский познакомился со мной и с Синяковыми. 27.3.1926³².

Однако сам Петровский датировал знакомство не 1915-м, а 1914 годом. На форзаце книги, подаренной им в апреле 1919 года Пастернаку, он пишет: «Дорогому Борису в память 14-го года (весна), когда он читал мне на моем чердаке в Зачатьевском переулке Бодлера и Верлена. Дм. Петровский»³³.

Правильность сведений Петровского подтверждает А. Парнис. Он сообщил Е. Б. Пастернаку, что 27 апреля 1914 года в «Вечерней газете» было напечатано объявление о том, что 23 апреля 1914 года земляк и знакомый Петровского полтавский художник Макс (В. Н. Максимович) покончил с собой в Москве после неудачной выставки его картин.

В биографии поэта Е. Б. Пастернак пишет:

Из сопоставления разных воспоминаний и обмолвок следует, что Петровского увидела в покойницкой старшая из Синяковых, певица Зинаида Мамонова, и привела его в Замоскворечье, где на Малой Полянке, в квартире, снятой пианисткой Надеждой Михайловной (по мужу Пичета), жила Мария Уречина и две младшие незамужние сестры Ксения (Оксана) и Вера³⁴.

Это место как колдовское оживет в стихотворении Пастернака «Метель»:

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да выюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, –

.....

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Синяковых пять сестер, – писала Лиля Брик. – Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец, а мать человек передовой, безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю – Пастернак, в Марию – Бурлюк, на Оксане женился Асеев³⁵.

Ей же он посвятил свой лучший цикл лирических стихотворений – «Оксана».

Асеев как-то рассказал Марии Белкиной странную историю о сестрах. Когда он женился на Оксане, спустя некоторое время умерла их мать, которую сестры очень любили. В гробу

³² Воспоминания о Борисе Пастернаке. С. 128, более полный вариант: Вопросы литературы. 1990, № 2. С. 51–52.

³³ Пастернак Е. Борис Пастернак. Биография. М., 1997. С. 191.

³⁴ Пастернак Е. Борис Пастернак. С. 191.

³⁵ Там же.

они ее раскрасили под молодую женщину, а сами с распущенными длинными волосами стояли вокруг, играли на музыкальных инструментах, пели и читали стихи. Асеев был обескуражен.

Оксана Асеева (она же Синякова) утверждала, что именно сестры положили начало обществу «Долой стыд!».

М. Булгаков 12 сентября 1924 года записал в дневнике:

Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась³⁶.

Петровский всегда был внимателен к датам и юбилеям дружбы: в своей речи на Первом съезде писателей в 1934 году он счел необходимым открыть делегатам съезда поворотное событие в своей биографии – знакомство с Борисом Пастернаком:

В день самоубийства одного художника – в странной, хоть и нелепой связи с этой смертью, никак прямо меня не задевавшей, – я встретил человека, невольно ставшего вестником моего будущего, Бориса Пастернака... Это было моим первым рождением³⁷.

И через двадцать лет, в 1937 году, Петровский не забыл обстоятельств знакомства с Б. Пастернаком, но высказался о них уже несколько иначе...

³⁶ Булгаков М. *Дневник*. С. 71.

³⁷ *Первый всесоюзный съезд советских писателей*. М., 1990. С. 535.

Хлебников и Петровский

Вскоре после своего «первого рождения» Петровский познакомился и с В. Хлебниковым, это случилось в январе 1916 года.

Встретился я с Велимиром Хлебниковым неожиданно, хотя знал и любил его уже года два до этого... <...> Это случилось у Вермеля, издателя «Московских Мастеров»...³⁸

Прямо перед их встречей, вскоре после Нового года, в петроградской квартире Бриков Хлебников был провозглашен «королем поэтов». Петровский привязался к Хлебникову сразу же и на следующий день приехал к нему в гости во флигель Петровского парка, где тот жил со своим братом.

Петровский рассказывал об их совместных занятиях с некими языковыми шумами, о разработке планов государства Пространства и государства Времени, о совместных поездках к духовно близким Хлебникову людям – Павлу Флоренскому и Вячеславу Иванову.

Немаловажно и то, что Петровский брал у Хлебникова своеобразные уроки мистического житнетворчества, не столько подражая ему поэтически, сколько перенимая присущие тому особенности в поведении и восприятии жизни.

Когда обокрали магазин издателя Вермеля, Хлебников, возмущенный тем, что тот не выплатил в тяжелые для поэта дни полагающийся ему гонорар, видел в этом случае проявление закона фатальности («сердцебиение случая»). Петровский писал, что «судьба мстила за него, помнила о нем».

Хлебникова неожиданно призвали в армию и определили в Царицынский полк, Петровский приехал его навестить. На улице он случайно встретил Татлина, с которым был знаком по Харькову. Они решили совместно провести вечер футуристов, чтобы заработать Петровскому на обратный проезд. Нарисовали плакат, выступили с докладом, который из-за занавеса нашептывал Хлебников. Ему выступать было нельзя – он был солдатом.

Петровский около года ощущал себя апостолом Хлебникова: собирал разбросанные бумажки со стихами и вычислениями, записывал необычные высказывания.

Все, что в Хлебникове находили уродливым (некоторые его знакомые), проистекало от невнимательности их самих к чрезвычайно сосредоточенному в своем мире и потому рассеянному в своем мире и по отношению ко всему остальному Хлебникову, – писал Петровский впоследствии в своей автобиографии³⁹. Всем известен апокриф о том, что «степь отпоет», пересказанный Ю. Олешей в книге «Ни дня без строчки»:

Однажды, когда Дмитрий Петровский заболел в каком-то странствии, которое они совершали вдвоем, Хлебников вдруг встал, чтобы продолжить путь.

– Постой, а я? – спросил Петровский. – Я ведь могу тут умереть.

– Ну что ж, степь отпоет, – ответил Хлебников.

А вот версия самого Д. Петровского:

Мы слезли на Черепаше, пересекли несколько калмыцких поселков, рыбацких промыслов и вышли в степь. У нас фляга с водой и немного хлеба. Шли верст 70. Здесь же в степи Велимир сочинил своего «Льва», на одной из стоянок он записал его на лоскуточке. В степи же была изобретена «Труба марсиан», взлетевшая через месяц в Харькове в издательстве «Лирень».

³⁸ Петровский. *Воспоминания о Хлебникове*. С. 3.

³⁹ Там же.

Степь, солончаки. Даже воды не стало. Я заболел. Начался жар. Была ли это малярия или меня укусило какое-либо насекомое, не знаю. Я лег на траву с распухшим горлом и потерял сознание. Когда я очнулся, ночь была на исходе. Было свежо. Я помнил смутно прошлое утро и фигуру склонившегося надо мной Хлебникова. Голое пустое место. Мне стало жутко. Я собрался с силами, огромным напряжением воли встал и пошел на запад. На пароходе добрался до Астрахани и до Демидовской.

Хлебников сидел и писал, когда я вошел к нему.

– А, вы не умерли? – обрадованно-удивленно сказал он.

– Нет.

В моем голосе и виде не было и тени упрека, я догадался, в чем дело.

– Сострадание, по-вашему, да и по-моему, ненужная вещь. Я думал, что вы умерли, – сказал Велимир, несколько, впрочем, смущенный. – Я нашел, что степь отпоет лучше, чем люди.

Я не спорил. Наши добрые отношения не поколебались⁴⁰.

Сложно сказать, насколько правдив и точен в своих воспоминаниях Петровский, но даже если это вымысел, то он талантлив.

Интересно, что и Хлебников тоже выступает своеобразным мемуаристом, представляя довольно-таки зловещий образ Петровского в очерке «Малиновая шашка» о Гражданской войне на Украине:

Как П<етровский>?! Неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папахе, белый как смерть и нюхал по ночам в чайных кокаин? Три раза вешался, глотал яд, бесприютный, бездомный бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художники любили писать его голого. А теперь воин в жупане цвета крови – молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкесской. Его все знали и, пожалуй, боялись – опасный человек. Его зовут «кузнечик» – за большие, голодные, выпуклые глаза, живую речь, вдавленный нос. В свитке, перешитой из бурки, черной папахе... он был сомнительным человеком большого города и с законом не был в ладу.

Некогда подражал пророкам (вот мысль – занести пророка в большой город с метелями, что будет делать?).

Он худой, белый как свеча, питался только черным хлебом и золотистым медом, да английский табак, большой чудак, в ссоре с обществом, искавший правды. Женщины-художницы писали много раз его голого в те годы, когда он был красив.

Хромой друг, который звался чертом, три раза снимал его с петли. Это было вроде небесного закона: П<етровский> удавливается, Ч*. снимает.

Известно, что он трижды обежал золоченый, с тучами каменных духов храм Спасителя, прыгая громадными скачками по ступеням, преследуемый городовым за то, что выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи.

Любил таинственное и страшное. Врал безбожно и по всякому поводу⁴¹.

Читая этот отрывок Хлебникова, нельзя отделаться от ощущения, будто сквозь текст проглядывают фантазмагорические фигуры героев «Страшной мести» Гоголя.

История с вырванными оттисками имела для Петровского продолжение. 30 марта 1916 года в окружном суде состоялся процесс по обвинению его в краже гравюр.

⁴⁰ Петровский. *Воспоминания о Хлебникове*. С. 8.

⁴¹ Хлебников В. *Творения*. М., 1986. С. 564–565.

На суде Петровский заявил, что он – бывший футурист. Питая искренний интерес к истории живописи, но не имея возможности ввиду отсутствия средств поехать за границу, он решил пополнить свое художественное образование «домашним», так сказать, способом. Способ заключается в вырезывании гравюр из художественных изданий в различных библиотеках Москвы.

– Теперь, – заявил Петровский, – я от футуризма отказался и хочу стать честным человеком.

– Кроме того, – добавил он, – я готовлю к печати ценный труд, который должен произвести переворот в литературе по вопросам искусства.

Присяжные заседатели Петровского оправдали⁴².

Правдой в словах Петровского было только то, что он не мог учиться дальше живописи. В автобиографии он писал:

За год до войны я был исключен из Школы Живописи, где я только что начал учиться после предварительно двухгодичных занятий в студии Юона (в Москве). Выехать за границу (в Париж), куда вели меня мои живописные склонности, не удалось из-за неполучения паспорта: – (я был «политически неблагонадежным») и из-за отсутствия денег⁴³.

Петровский и шагнул в Гражданскую войну с ее вольницей, анархизмом, жестокостью. Сам же он писал в автобиографии, что на Гражданской войне был организатором красных партизан (большевиков), красноармейцев: (Богунцев, Таранцев, червонных казаков), и как командир своего собственного отряда («Братьев Петровских»), провел все годы Гражданской войны, создавая первые красные отряды на Украине (на Черниговщине) с самого Октябрьского переворота, точнее со дня разрыва Центральной Радой отношений с РСФСР – т. е. с 3 декабря 1917 года.

С сентября по декабрь 1918 года просидел в гетманской тюрьме в городе Чернигове, ожидая расстрела.

Только после замирения с Польшей – и разгрома Врангеля, – т. е. после окончательной нашей победы на фронтах, вернулся в Москву и занялся оборванной с 1916 года поэтической деятельностью.

⁴² Цит. по: Крусанов А. *Русский авангард*. М., 2003. С. 76.

⁴³ См.: Приложение. С. 693.

Пастернак и Петровский

Дружба с Пастернаком выявила совершенно другой образ Петровского. В 1920 и 1921 годах Пастернак пишет ему письма. В этих письмах отражено все – голодные московские зимы (поэтому просьба выслать с Украины какие-нибудь продукты), уплотнение, воспоминание о детстве, беспокойство о брате Петровского, с которым он приходил к Пастернаку на квартиру в Сивцев Вражек. Письма полны нежной родственной расположенности, которую умел создавать Пастернак в отношениях с людьми. Из этой теплоты соучастия складывался и мир его поэзии:

...Отчего Вы не напишете ничего о себе? Как брат Ваш? – Опять события разворачиваются совсем под боком у Вас, и очень за Вас боюсь и тревожусь. Той зимой, Дмитрий, что я Вас узнал, стало близко Ваше дело мне, и Ваша жизнь⁴⁴.

6 апреля 1920-го:

...А ужасная зима была здесь в Москве, Вы слышали, наверное. Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный отдел вон; нас, в уважение к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились.

Очень, очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч. К., по соседству. Так постепенно с сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. – Видите, вот и я – советский стал.

Я к таким ужасам готовился, что год мне, против ожиданий, показался сносным и даже счастливым.

<...> Чем живу? <...>

Обычно, когда жилось хорошо, все настоящее было сплошь будущим, и помните, по временам все волнение наше проистекало от такого затеканья, засасывания времени⁴⁵.

1 мая 1921 года:

...«Самый дорогой друг», – так называли Вы меня, Дмитрий; спасибо; Вы не ошиблись, – но на что я Вам, если в самый существенный момент Ваших страданий или незадач Вы ограничились кратким извещением, иероглифически темным, и не спросили меня – (Вам смешно это?) – но ведь этого не случилось – я крепко-крепко целую Вас и жду ответа немедленного и полного. Слышите, Дмитрий!

*Ваш Б. Пастернак*⁴⁶.

В 1924 году (19 октября) Пастернак, только что вернувшись из Ленинграда, где виделся с Осипом Мандельштамом, обратится к нему с взволнованным письмом:

...Что-то тут сделалось в мое отсутствие с Дмитрием Петровским. Он пишет что-то громадное, мало с кем встречается и при первом же моем звонке объявил мне, что не желает меня видеть. Надо знать Дмитрия так, как знаю его я, а также степень, давность и глубину нашей дружбы. Я понял, что причины этой перемены лежат где-то глубоко, и не только

⁴⁴ Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 352.

⁴⁵ Там же. С. 350.

⁴⁶ Там же. С. 365.

не обиделся, но даже и не огорчился, а как-то порадовался за его болезненным усилием воли проводимое одиночество. Я не обиделся. Он виделся с женой, его объяснения ее удовлетворили и показались достаточными и благородными. <...> Но этот крупный духовный подъем у Петровского, заставляющий его сторониться меня, совпадает с внешней стороны, объективно по смыслу и по времени с некоторой атмосферой холода и отчуждения, которые я тут застал. Говоря безотносительно, – она заслужена мной, я давно уже ничего не писал и притязать на ровное и постоянное внимание не вправе⁴⁷.

Странное поведение Петровского, грубо избегающего встреч с другом, рассматривается Пастернаком как знак общего охлаждения к нему жизненного пространства, которое не прощает поэту расчета, халтуры, отсутствия подлинного вдохновения. В грубости друга он ищет высокий метафизический смысл.

То горестное время описано Пастернаком в самом начале «Спекторского»:

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребятства пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны...

«Друг отзывчивый и рьяный» – это Я. З. Черняк, работавший в журнале «Печать и революция», большевик, обожающий его поэзию.

Пастернак с некоторым восхищением смотрит на Петровского, который, видимо, был увлечен в тот момент своей героической прозой – «Повстанья», где описывал опасные приключения в петлюровском плену.

В феврале 1926 года умерла от брюшного тифа Лариса Рейснер, Пастернак написал на ее смерть стихи. В них звучало преклонение перед гармоничностью ее судьбы и женской красотой.

Лариса Рейснер перед смертью, как писала Марика Гонта, устроила Пастернаку, Мандельштаму, Тихонову встречу с легендарным капитаном Кукем, который прославился тем, что в 1918 году по приказу Ленина затопил Новороссийскую эскадру, чтобы она не досталась немцам.

В этот вечер она не могла прийти. Она страдала приступами афганской малярии, которая погубила ее, косвенно, как змея Олега, выползшая из скелета коня.

Накануне смерти мы видели ее, веселую и возбужденную, необычайно остроумную и ласковую: держа большую грелку у солнечного сплетения, она жаловалась на боли, это был брюшной тиф. И на другой день, попирая ногами свою мертвую копию – портрет, висевший над ее гробом, неправдоподобно живая и красивая, как никогда, она лежала в Доме журналиста, улыбаясь, – преодолевая и за гранью жизни самое понятие «смерть»! <...>

Капитан Кукем, подписавший приказ о потоплении флота согласно постановлению революционного комитета матросов, жил тогда в Москве, в Замоскворечье. Зимой 1925 года у Петровских в Мертвом переулке он делился своими воспоминаниями с несколькими собрав-

⁴⁷ Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 514.

шимися для этого поэтами. На этом вечере присутствовали Пастернак, Асеев, Шкловский, Тихонов, Мандельштам. Рассказ Кукеля был скромным и сдержанным. Он повторял канву революционных событий 1905 года, закончившуюся гибелью лейтенанта Шмидта⁴⁸.

В сборнике «Черноморская тетрадь», вышедшем в 1928 году, Петровский напишет своего «лейтенанта» – стихотворение «Лейтенант Кукель» с явной отсылкой к пастернаковскому «Лейтенанту Шмидту»:

Закройте бухту на замок!..
На палубу, как на молитву,
Двух взрывов вывалил дымок:
Идет с машинами разбитыми
На зубоскалящее дно
Судов потопленных венков...

Капитан Кукель будет расстрелян в 1937 году.

⁴⁸ См.: Приложение. С. 487.

Марика Гонта. Мертвый переулочек

*Все спит в молчаньи гулком.
За фонарем фонарь
Над Мертвым переулочком
Колеблет свой янтарь.*

Андрей Белый

*Я любил эти детские губы,
Яркость речи и мягкость лица...*

Даниил Андреев. Янтари

Елена Владимировна Пастернак, расшифровавшая мемуары Марии Гонты, рассказывала, что перепечатывала их с разрозненных листов, где они были записаны широкими строчками, очень импульсивно и не всегда связно. Но в них жили атмосфера конца 20–30-х годов, дух собраний и встреч той поры.

Свою жену Марию Павловну Гонту Петровский привез в Москву, видимо, в 1924 году. Их двойной портрет той поры сохранился в воспоминаниях Елизаветы Черняк:

...я очень ясно помню наш первый визит к Б.Л. ранним летом 1922 года. Б.Л. <...> жил тогда на Волхонке, 14, на втором этаже, в бывшей квартире своих родителей.

<...>

Мы с Яшей (Черняком. – Н. Г.) пришли вместе с поэтом Дмитрием Петровским и его женой Марийкой (Мария Гонта). Они жили недалеко от нас в Мертвом переулочке. Странная это была пара. Петровский – неистовый поэт и человек. В Гражданскую войну он примыкал к анархистам. Говорили – убил помещика, кажется, своего же дядю. Был долговяз, и создавалось такое впечатление, будто ноги и руки у него некрепко прикреплены к туловищу, как у деревянного паяца, которого дергают за веревочку. Стихи у него были иногда хорошие, но в некотором отношении он был графоман <...>.

Марийка была актриса (она снималась в эпизодической роли в «Путевке в жизнь»). Я редко видела такое изменчивое, всегда разное, очень привлекательное, хотя не сказать что красивое, лицо. Одевались они с Петровским очень забавно в самодельные вещи (тогда еще трудно было что-нибудь достать), сшитые из портьер, скатертей и т. п., всегда неожиданные по фасону и цвету. Жили они очень дружно и были влюблены в друг друга, что не мешало Петровскому бросить Марийку. В те годы Петровский дружил с Б.Л., но спустя несколько лет резко с ним поссорился, как, впрочем, рано или поздно почти со всеми своими друзьями⁴⁹.

Мария Гонта дружила с Пастернаком и считала его близким человеком до конца своих дней. Ее чрезвычайно эмоциональные воспоминания опубликованы лишь фрагментарно. В этом смысле судьба ее как мемуаристки сходна с судьбой бывшего мужа. По описаниям

⁴⁹ Е. Черняк. Б. Пастернак. Из воспоминаний // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: Т. 11. С. 134–135.

Марии Седовой (Луговской), она была небольшого роста, очень изящная, с тонкой талией, крутыми бедрами и высокой грудью. Разговаривая, она ходила взад и вперед, заглядывая в большое зеркало, висевшее на стене, и поглаживая себя то по груди, то по бедру.

Начало ее дружбе с Пастернаком положили его замечательная отзывчивость и гостеприимство:

Мы с Дмитрием вернулись в Москву, ограбленные по дороге. Усталые, грязные, мы появились у Бориса на Волхонке в тот момент, когда к Борису Пастернаку пришли Асеевы. Нарядная, кудрявая Оксана с ниткой искусственного жемчуга на шее и суетливый, рисующийся Николай Николаевич. Я чувствовала себя очень неловко. Дмитрий сразу попал в среду друзей и чувствовал себя как ни в чем не бывало. Я же сидела на стуле и готова была провалиться сквозь землю, так как я была не в тон общему разговору, и мне казалось, что своим видом я порчу общий праздник. Это не ускользнуло от внимательного взгляда Бориса, который казался всецело занятым гостями.

Он тихо спросил меня, не хочу ли я принять с дороги ванну.

– А это возможно? – Я не смела мечтать о таком счастье.

Он проводил меня в конец коридора, выдал мыло и мочалку.

Через некоторое время я вернулась в комнату другим человеком, отдохнувшей и забывшей скованность, так мучившую меня только что. Каким образом Борис мог понять то, что мне так было нужно, с каким тактом он догадался предложить мне это? Каким-то чудом, среди случайно уцелевших после ограбления вещей у меня нашлось золотое платье, сшитое мною из куска парчи.

По возвращении я сошла за новоприбывшую.

Борис встал мне навстречу.

– Вот Марина, – представил он меня вновь, – посмотрите, какая стала красивая, – притом самыми простыми средствами. Возникла из пены морской.

Для ободрения он произвел мое имя от слова «mare» – «море», «марево» – Мария Моревна. Но для этого надо было быть достойной ободрения.

Раз и навсегда между нами установилось ровное открытое доверие, как будто ни к чему не обязывающее, кроме этой ровности и непрерывности.

Великолепное настроение Бориса в этот вечер коснулось и меня.

Борис любил Асеева. Он слушал его стихи, отраженные сладким высоким фальцетом, как пение Лемешева, с нежной внимательностью и напряженностью в горячем взлете. Он любовался их красотой и счастьем.

Мне стихи не понравились своей претенциозностью и тем, что, расхваливая их, Борис вкладывал в них что-то свое, чего в них, собственно, не было⁵⁰.

Через некоторое время Петровские поселились в Мертвом переулке на Арбате, который сейчас называется Пречистенским, а после смерти Николая Островского долго носил его имя: писатель жил там в начале 30-х годов.

Но в конце 20-х он еще назывался Мертвым переулком и входил в число арбатских – Староконюшенный, Чистый, Сивцев Вражек и близкая к ним Волхонка, где жили герои этого повествования; пройти от дома одного до дома другого можно было за 10–15 минут. Местность, находящаяся рядом с переулком, называлась Могилыцы, а Успенская церковь –

⁵⁰ М. Гонта. *Мартирок* // Пастернак Б. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 256–257.

на Могильцах. По одному из преданий, после очередной эпидемии чумы здесь было чумное кладбище с церковью, а все соседние переулки стали называться Могильцевскими. По другой версии, название переулка произошло от фамилии владельцев самого крупного участка – дворян Мертваго. Любопытно в этой связи, как пестрота звучания имен московских переулков и фамилий их владельцев отзывается в имени любимого московского героя Пастернака – Живаго.

Комната Петровских, длинная, с двумя большими окнами, находилась в большом доходном доме.

Был июль. Было жарко, – писала Марика в воспоминаниях. – Даже вечером. Окна высокой комнаты в Мертвом переулке, обращенные во двор, раскрыты настежь, и в них врывается воскресный шум: где-то играют Шумана, внизу поют частушки, и дети гоняют мяч, в дворницкой голосит гортанная гармошка.

Мы ждем гостя, грузинского поэта Робакидзе. Представлялось: с тонкой талией, в черкеске с газырями – огненный Шамиль, – а пришел блестящий парижанин, изысканный европеец с безукоризненными манерами, в костюме от Ворта. Его встречали: Николай Тихонов, синеглазый и пастушеский, как Лель, еще «Серапионов брат», надевший первую толстовку – коричневую вельветовую в рубчик; Дмитрий Петровский в матросской робе, певец червонного казачества, соратник Щорса, о чем свидетельствовала дареная серебряная шапка, висевшая на стене; Борис Пастернак, уже тогда широко известный автор «Поверх барьеров» и «Сестры моей жизни», стремительный, сосредоточенный и живой, как живая собака, единственный по-европейски одетый, непринужденный и элегантный в своем старом сером пиджачке и галстук «в морошинку». Были еще Черняки, Яков Захарович и Лиза, прелестные люди, друзья Бориса Пастернака. Кажется, был Яхонтов.

Гость предложил читать стихи по-русски и по-французски. Борис Пастернак просил гостя читать по-грузински.

Гость попросил разрешения у хозяйки.

– Читаю первый раз. Тимур мчит через горы на коне пленницу. Гроза. Погоня. Пропать над рекой.

И тут разверзлось жерло грома. Из горла Григория Робакидзе вырывались одни согласные, громокипящие, kloкочущие, короткие, но звучали они как гласные, не слыханные ни на одном языке, ни даже в рычании тигра.

Тимур гнал коня через горы, и тонко плакала пленница, лица слушателей напряжены, руки невольно перебирают поводья.

Мы все скакали в ритме дикого коня, пренебрегая безднами. Скакал конь, гремела гроза. Хозяйка дрожала поперек седла не только от страха (вот почему – разрешение!).

В переулке, полном праздничного гама, гармошки, песен, криков детворы, – все стихло, – захлопали ставни, заметушились люди: что случилось?

Сквозь топот Тимурова коня хозяйке чудился топот милицейских лошаков.

Сыпались камни. Обваливалась дорога, скакал конь. Гроза гремела. Настигала погоня. Тимур летел через пропасть, роняя пленницу в грозный Дарьял.

Все долго молчали, как после бури или кораблекрушения...⁵¹

Мария Седова (Луговская) рассказывала, что уже в тридцатые годы она из квартиры в Староконюшенном заходила к Марике почти каждый день; мама посылала ее по самым разным хозяйственным нуждам. В центре комнаты стояло большое массивное кресло, оно было из дома на Волхонке.

⁵¹ М. Гонта. *Мартирок*. С. 256–257.

Мария Владимировна написала маленькую историю этого кресла:

С раннего возраста, бывая в доме подруги моих родителей – Марии Гонты, – я помню большое дубовое кресло с резной спинкой. Об этом кресле Мария Павловна рассказывала, что его принес в дар ей и ее мужу – поэту Дмитрию Васильевичу Петровскому – Борис Леонидович Пастернак.

Они переехали в пустую комнату в Мертвом переулке (пер. Островского), и какое-то время кресло было их единственной мебелью. По словам М. П. Гонты, кресло принадлежало еще отцу Б. Л. Пастернака – художнику Л. Пастернаку. М. П. Гонта умерла в 1995 году. Она хотела, чтобы кресло вернулось в дом Пастернака.

Прямо напротив их дома стоял особняк М. Морозовой, известной меценатки, которая создала знаменитое философское общество памяти Вл. Соловьева. После революции этот великолепный дом стал обычной уплотненной коммуналкой.

В дом по соседству родители маленького Жени Пастернака водили его к учительнице иностранного языка. «Длинный коридор был уставлен шкапами, двери в комнаты при этом становились темными нишами»⁵², – вспоминал Е. Б. Пастернак. Потом дом купило Датское посольство. Из окон квартиры Марики можно было увидеть посольскую гостиную. Сама обладательница многих московских особняков, Маргарита Морозова, жила с сестрой в подвальном этаже с окнами на уровне тротуара. Ее сыном был Мика Морозов, портрет которого написал Валентин Серов. В будущем один из лучших знатоков Шекспира, профессор Михаил Михайлович Морозов в конце 20-х годов дружил с Булгаковым.

Марика была близкой подругой и Татьяны Луговской, хотя их разделяла разница в возрасте в десять лет; ее опекали, что видно из писем Петровского, Владимир Луговской и первая жена его Тамара Груберт.

Татьяна Луговская, рассказывала, как в середине 20-х годов, когда ей было около шестнадцати лет, она несколько раз просила Марику познакомить ее с Пастернаком, но случай никак не представлялся. Однажды зимним февральским днем они шли по Волхонке, мела метель, ни зги не видно. Татьяна привычно заканючила: «Ну, где, где твой Пастернак?» – и вдруг из белой мглы послышался голос: «Я здесь!» Так состоялось их знакомство.

Марику Гонту Пастернак опекал, когда впоследствии ее бросил Дмитрий Петровский, он очень нежно относился к оставленным, брошенным мужьями женам. Его терзало чувство вины. Говорили, что у него была мысль на все свои деньги поставить дом оставленным женщинам или несчастным вдовам. Ее воспоминания написаны с огромной любовью. «Его отношение к женщине было нежным, даже женственным, – писала Марика, – основанным не столько на том, чтобы завоевать любимую женщину, сколько на том, что он не мог отказать женщине»⁵³. Но Марика не была одинокой.

На съемках фильма «Путевка в жизнь», в котором Марика исполняла сразу две роли, воровки и нэпманши (беспризорники вырезали клоч шубы у нее со спины), у нее случился роман с режиссером Н. Экком.

В ее доме на торшере всегда висело янтарное ожерелье. В память о романе с Даниилом Андреевым. В 1937 году они жили вместе в Крыму, в Судакe. Он посвятил ей цикл стихов «Янтари». Вывел ее в исчезнувшем на Лубянке романе «Странники ночи» в образе татарки Имар, в которую влюблен главный герой Олег Горбов. Он отказывается от духовного брака ради земного чувства. В оставшемся наброске романа есть портрет Имар, написанный

⁵² Личный архив автора.

⁵³ *Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак*. М., 1998. С. 305.

с Марики: «...горячий полумрак сглаживал единым тоном ее смуглую кожу, яркие губы, косы, заложенные вокруг головы, и янтарное ожерелье...»

Исай Лежнев. Похождения главного редактора журнала «Россия»

В черновой рукописи «Театрального романа» Булгаков пишет:

...В Москве в доисторические времена (годы 1921–1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо, и руки), и отличался большим умом. Профессия у него была такая: он редактор был чистой крови и Божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922–1925!!) частный толстый журнал! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была неописуемая воля, и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной и грязной квартире, он издавал⁵⁴.

Итак, я отнес свою повесть туда, – словно продолжая «Театральный роман», вспоминал годы спустя его друг Сергей Ермолинский. – Редактор-издатель принимал авторов у себя дома, на Большой Полянке. Меня встретил рыжеватый человек с красными веснушками на лице. Он взял рукопись и предложил зайти к нему через две недели. Я пришел в назначенный срок и позвонил с замирающим сердцем. Дверь отворила дама. Она смотрела на меня испуганно. Она сказала: «Редактора нет, он уехал и неизвестно когда вернется».

Он не вернулся совсем, он исчез. Журнал перестал выходить. Моя рукопись пропала. Ходили слухи, что редактор «независимого» журнала «Россия» арестован, потом говорили, что он административно выслан за границу⁵⁵.

«Я к Вам с двумя просьбами. Выслан за границу Лежнев, редактор незадолго перед тем закрытого журнала «Новая Россия»»⁵⁶, – пишет Пастернак Корнелию Зелинскому 1 июня 1926 года в Париж, где тот работает корреспондентом «Известий» под началом Х. Раковского.

Так кто же такой этот таинственный «замечательный человек» Исай Лежнев? Талантливый издатель, авантюрист или темная личность? Примечательно его появление на страницах «Театрального романа» Булгакова в образе рыжего Рудольфи – тот возникает на пороге комнаты уже совсем отчаявшегося писателя Максудова и предлагает контракт на печатание его романа.

В 1918 году Лежнев был членом делегации бюро печати на Украине. На юге России несколько лет он организовывал различные советские газеты, а затем стал спецкорром в советском постпредстве в Берлине.

В начале 20-х он становится главным редактором и издателем журнала «Россия». Журнал был сначала двухнедельником, выходившим на 32 страницах обычного формата, а затем стал толстым ежемесячником. В его подзаголовке значилось: «общественно-литературный журнал группы литераторов и ученых». В списке сотрудников были имена как молодых писателей – М. Зощенко, Вс. Иванова, Н. Никитина, Н. Тихонова, К. Федина, Б. Пильняка, так и уже известных – М. Пришвина, М. Шагинян, В. Лидина, О. Форш и ряда видных московских и петроградских ученых и публицистов.

Журнал <...> заигрывал с интеллигенцией, старался стать ее трибуной <...>. И он словно доказывал Западу, что в России, которую продолжают обвинять в полном бесправии, покончено с единомыслием, возрождается свободная литература. По-видимому, это была одна

⁵⁴ Неоконченное сочинение Михаила Булгакова. Новый мир. 1987. № 8.

⁵⁵ Ермолинский С. О времени, о Булгакове, о себе. М., 2001. С. 56.

⁵⁶ Пастернак Б. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 685.

из главных, подпочвенных задач нового журнала. И, должно быть, это было своевременно. <...> Сменовеховцы заговорили о возвращении на родину, а затем ряд видных профессоров и писателей (в том числе Алексей Толстой) получили право вернуться домой.

Играя на настроениях колеблющихся эмигрантов, журнал всячески подчеркивал национальный характер нашей революции. Почитался Горький за то, что сказал, что «жестокость русского народа выходит из чтения жития святых» <...>. Рекламировался Б. Пильняк, один из самых модных писателей того времени, он говорил сумбурной своей прозой об особенном, исконно-русском, кондово-национальном духе большевизма. <...> «Россия» была перекрестком разных путей и дорог, противоречивый, пестрый журнал, но его направляла умелая, ловкая редакторская рука...⁵⁷

Внедрение И. Лежнева в сменовеховскую среду и его работа в журнале «Россия» были, по всей видимости, частью какого-то большого плана.

В апреле 1926 года состоялся Российский зарубежный съезд (РЗС), где были представлены основные военные и гражданские силы русского зарубежья. Но Съезд напугал советские власти, и они решили расправиться со сменовеховцами. 16 апреля в «Правде» вышла резкая статья Михаила Кольцова, направленная против И. Лежнева. А в начале мая на заседании Политбюро появилось решение о закрытии журнала и высылке его редактора.

Однако вернемся к письму Пастернака.

Он со свойственным ему простодушием объясняет Зелинскому, незнакомому человеку, все, что думает о случившемся:

...Я исподволь участвовал (имеется в виду – в публикациях журнала. – Н. Г.), хотя журнал по духу дилетантизма, там царившего, казался мне всегда воплощением добродушной безвредности, стихии, к которой меня никогда не влекло. Было бы несправедливо сказать, что эта эманация исходила от Лежнева. Он умнее и существеннее своего журнала, как, может быть, и некоторые из сотрудников. Характер безотрадной порядочности создавался всем коллективом, и адрес редакции, благодаря этой особенности, находился если не в самой округе общих мест, то в угрожающей от него близости. В «Новой России» я участвовать не стал, заявив об этом редактору. Причины приведены выше. Этому человеку, слепо преданному союзу, месту союза в истории, идее союза и любой комбинацией слова «союз» с любым большим и энтузиастическим понятием, дали выпустить три номера, на четвертом закрыли и выслали⁵⁸.

Интересно, что трехлетие журнала «Россия» отмечалось с большой помпой в Доме Союзов 6 апреля 1925 года. С речами на вечере выступали А. Белый, И. Лежнев, М. Булгаков, Б. Пастернак, Д. Петровский. О. Форш и другие. И здесь, в выступлениях, видимо, настойчиво звучало то, что потом отозвалось в письме Пастернака. «Трудно даже поверить, – писалось в газетном отчете «Вечерней Москвы», – чтобы в течение каких-нибудь трех часов можно было столько раз подряд повторять слово – Россия».

Интересно, что Пастернак в этом же письме к Зелинскому проницательно и иронически оценивает Лежнева и его детище, но при этом выступает в качестве его заступника.

Женская стихия власти, – пишет Пастернак, – повела себя как женщина: проглотила три любовных письма, четвертого не распечатала и своего поклонника временно отправила

⁵⁷ Ермолинский С. *О времени, о Булгакове, о себе*. С. 57.

⁵⁸ Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 685.

к чертям <...> прекрасно зная, что слепая его любовь только удесатерится от превратностей, и в пятом письме он ей пришлет свое облитое кровью сердце. Правда и выслали-то его по поговорке: милые бранятся – только тешатся, т. е., только на срок, номинально трехлетний, но который обещали сохранить, с полным советским паспортом и разрешением работать в заграничном советском учреждении. Незадолго до высылки Радек по моей просьбе должен был поговорить с Дзержинским о Лежневе. Позволительно думать, что по пересмотре дела, м. б., его даже не выслали бы. Но Дзержинского не было эти дни в Москве. Высылка же, т. е. самая посадка на поезд, произошла неожиданно, и я не успел попросить у Радека письма Раковскому, в котором бы он мне не отказал и о котором в самую последнюю минуту попросил меня выслать. На вокзале пришлось мне в голову, написать Вам, Корнелий, о нем и попросить Вашего, и через Вас участия Хр<истиана> Августовича (Раковского. – Н. Г.). Я знаю, что в предоставлении работы Вы, конечно, решительных шагов не сделаете, не запросив центра. И с этой стороны, вероятно, препятствие не встретится. Но выслушайте его со вниманием и доверием. Это умный, честный, до ослепления верный строю человек. Я настаиваю на слове, проскальзывающем в письме второй раз: мир заложен для Лежнева, как политического романтика – идеей союза, кроме которого он в мировом пространстве ничего не помнит, не знает и не ищет. Потому-то я в «Нов<ой> России» и не стал сотрудничать. Казенные журналы, временами, проводящие это отождествление механически и по инерции, т. е. бесстрастно, я предпочитаю журналу честному, отстаивающему этот антропоморфический миф со страстью. – Боюсь, что, разболтавшись с Вами, я затемнил для Вас существо первой просьбы и Вас рассеял. Я прошу, как принято это называть, о всемерном содействии Лежневу, который, верно, на днях зайдет в постпредство, если еще не зашел⁵⁹.

Поэт заступается за человека абсолютно не близких ему политических взглядов, просит за него у тех, на кого тот честно работал и у кого, возможно, продолжает состоять на тайной службе, при этом Пастернак независим в своих взглядах на власть и страну и не скрывает их от адресата.

В тот же день, когда Пастернак пишет Зелинскому, злополучный издатель посылает свою просьбу в Париж:

Посоветовал мне обратиться к Вам Борис Леонидович Пастернак. Он, как и другие товарищи, как и всероссийский союз писателей, принимают живейшее участие в моей беде. Минут за десять до отхода поезда из Москвы он примчался на вокзал и, запыхавшись, сказал: «Еще вот что. В Париже, в нашем постпредстве, работает поэт Корнелий Зелинский, друг Сельвинского. Он там занимает должность, кажется, литературного секретаря Раковского. Обратитесь к нему. Ему о Вашем деле напишет Сельвинский, напишу и я»⁶⁰.

Загадки в судьбе И. Лежнева продолжались и далее. Оказавшись за границей, он написал автобиографическую книгу «Записки современника», на основании которой, как сказано в Литературной энциклопедии, был принят в партию. Возвратившись в 1930 году в Советский Союз, он становится крупным литературным чиновником.

В книге, вышедшей в 1935-м, он саморазоблачается, т. е. описывает свое мелкобуржуазное детство и юность.

Тщеславная обезьянка и цепкий собственник, – пишет он о себе, – как все буржуазные дети, я был горд отцом и знал его как свою собственность. <...> Я не видел за столом собрания

⁵⁹ Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 685–686.

⁶⁰ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 676.

толстых самодовольных рож. Я был маленькой обезьянней тенью своего рослого отца. Что нравилось ему, нравилось мне...⁶¹

Далее он разоблачает интеллигентско-сменовеховскую среду, рассказывая о своей работе на должности редактора:

В первых строках передовой статьи первого номера «Новой России» я писал, захлебываясь от восторга: «После четырех лет гробового молчания ныне выходит в свет первый беспартийный публицистический орган».

А далее опять самоизбиение и избиение товарищей по цеху – оказывается, свобода торговли и свободная журналистика, по Лежневу, одно и то же:

Торговца этого мы все видели, но родства не признавали. <...> Своего классового родства с нэпманом мы все же не хотели видеть. А когда коммунистическая печать подчеркивала нашу родословную, то это только бесило, и я в сердцах огрызался. <...> Интеллигенции не нужен нэп. Он ей ничего не дает ни материально, ни тем более духовно. Как жили в нищете раньше, так и живем теперь. Нам не нужны порожденные нэпом продукты «культуры» вроде тотализаторов и бегов, кафе «Без стеснения» и кабаре «Нерыдай», «Журнал для женщин» и «Веселой простокваши»⁶².

Однако Лежнев помнит свою главную задачу – раскрыть собственное порочное нутро, поэтому пишет дальше: «Я был во власти все того же старого интеллигентского предрассудка, будто сознание независимо от бытия, отрешено от него и автономно управляется собственными имманентными законами...»⁶³ И так далее. Можно сказать словами Ленина, что книга Исаия Лежнева и теперь «очень своевременная», так как в ней отражены близкие нам и сегодня повороты сознания. Но по-прежнему остается без ответа вопрос, кто же такой был на самом деле Исай Лежнев.

Почти все участники движения сменовеховцев, вернувшиеся в Россию, были арестованы и в конце 30-х сгинули в тюрьмах и лагерях. Играл ли он роль провокатора в литературной среде или же искренне заблуждался, не ясно. И все-таки, похоже, что ближе всех к истине был Булгаков.

Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. <...>

– Рудольфи, – сказал злой дух тенором, а не басом.

Он, впрочем, мог и не представляться мне. Я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала «Родина», Илья Иванович Рудольфи⁶⁴.

Вернувшись в Россию, Исай Лежнев, кроме того что выпустил в «Новом мире» свое само-разоблачительное сочинение, которое не могло не развеселить Булгакова, отличился выступлением на съезде писателей со словами критики в адрес своего недавнего защитника – Пастернака, обвинив его (!) в симпатиях к сменовеховцам.

⁶¹ Лежнев И. *Записки современника*. М., 1935. С. 250.

⁶² Лежнев И. *Записки современника*. С. 252.

⁶³ Там же.

⁶⁴ *Неоконченное сочинение Михаила Булгакова*.

В ташкентской эвакуации И. Лежнев – секретарь узбекского Союза писателей, а на деле, согласно дневникам Вс. Иванова, один из цензоров, передающий произведения авторов, находящихся в эвакуации, на досмотр в НКВД.

Ирония судьбы состояла в том, что К. Зелинский и И. Лежнев наконец соединились в научном труде о Фадееве (каждый из них работал над своей монографией и ревниво относился к труду другого) – длинных скучных книжках, не нужных ни герою их повествования, ни им самим.

В библиотеке Луговского находилась книга И. Лежнева с пометами красным карандашом, и касались они вопроса, которому и были посвящены его «Записки современника» – технологии превращения интеллигента в советского человека.

Луговской. Первородный грех происхождения

«Новое» интеллигентское движение шло под флагом «приятия революции». Ложь! То было приятие воображаемой «нэповской эволюции», а не Октябрьской революции.

И. Лежнев. Записки современника

Наступает высшая точка развития нэпа. Меняется идеологический заказ власти. Тема революции, Гражданской войны, революционной романтики вытесняется темой глобального переустройства: общества, человека, страны, городов, заводов.

Лидия Яковлевна Гинзбург записала в дневнике о писателе Юрии Крымове, что дети из интеллигентской среды, такие как он, сразу же «безоговорочно шли в комсомол – замаливать первородный грех. У них не было ни двоемыслия, ни двуязычия». Но Крымов родился в 1910 году и с неизбежностью принадлежал уже советскому поколению. Иное дело – те, кто родились в самом начале века. Они закончили гимназии и еще застали прежние университеты.

Владимир Луговской первородный грех своего происхождения замаливал все 30-е.

На странице одной из его тетрадей 1926 года почти стершийся карандаш. Мелкий круглый почерк:

Мне нравится, что я начал писать то, что мне действительно хотелось высказать, пусть даже приблизительно и неточно.

Работать, работать и работать!

Едва ли мне сойтись с акмеистами.

Буданцев сказал правду – нужно преодолеть Пастернака – языком лирики, темы. Над этим следует задуматься всерьез.

Еще одна правда. Либо жизнь – биография, приключенчество, драма, острые <нрзб> либо поза, но точно выверенная, умело разработанная. Следует взять на зарубку.

Буду идти на ликвидацию личных моментов в стихах о Гражданской войне⁶⁵.

Буданцев – это писатель, погибший в годы репрессий, приятель Пастернака; интересно, что именно он наставляет молодого поэта таким образом.

Луговскому уже 25 лет. Для многих поэтов это время зрелости. В одном из писем он говорит о своем кризисе:

Нужно сказать, что у меня за эти полтора месяца болезненно обострилось самолюбие в сторону, пожалуй, внешнюю. <...> Тянет меня к левому фронту. Страшно, страшновато переходить на роль «молодого» писателя. Это даже как-то погано звучит⁶⁶.

«Узловцы», в большинстве своем тяготеющие к неоклассикам, для него все более остаются в прошлом, нужен мост в современность, в сегодняшний день. Но его интеллигентское происхождение очень мешает становиться современным.

Плохо то, что пока чистой жажды творчества нет, а получаются все какие-то подходы, приемы, темы, более или менее худосочные. Стихи моих приятелей тоже кажутся мне несуразными и никому не нужными. Чрезвычайно остро стоит вопрос: *на кого, для кого пишешь*.

⁶⁵ Семейный архив В. Луговского-Седова.

⁶⁶ Там же.

Наше время дает огромный простор для дела. Я же сильно нахалтурился и шел по линии наименьшего сопротивления. Хвастовство и вранье были попытками фантастического преодоления (и легкого) трудных жизненных препятствий, ведущих к достижениям. Миросозерцание и вообще «я» были приобретены до 1923 года и с тех пор пополнялись лишь от случая к случаю. Теперь это устарело и никого не может интересовать. На старости лет приходится опять начинать с азов. Врожденная доля упрямства и мягкотелость, но стержневая жажда продвижения и не последних мест толкает на мастерское учение и терпеливость.

Я всегда был трусом. У меня всегда было непомерное самолюбие. Мною всегда владела лень. От времени до времени при столкновении этих факторов я шел на всякие опасности и трудности напролом, добиваясь кое-каких успехов. Не удавалось – врал и успокаивал себя. Необходимо пустить самолюбие (если ничего лучшего нет) плюс озлобленность на себя для планомерной работы <...>.

Самым первым качеством, первой добродетелью на проверку оказывается *простота*. Если она соединяется со смелостью (а для меня это особенно трудно) – получается уже правильная вещь⁶⁷.

Он всегда желал производить впечатление сильного и мужественного человека, чему немало помогала его внешность: высокий рост, прямая спина, красивый низкий голос. За всем этим скрывался ранимый человек с вечно расстроенными нервами, с огромной неуверенностью в себе. Что, кстати, и роднило его с Маяковским.

Раздвоенность Луговского, как и всякого мальчика из интеллигентной семьи, шла из детства. В его юношеском дневнике слышатся интонации «русских мальчиков» Достоевского. С их внутренними муками и поисками смысла.

12 декабря 1913 года. До чего я бесхарактерен. Это, наверное, видно по всему. Нравственность моя теперь одно удивление. Господи! И это все плоды гимназического воспитания. Будь она проклята, гимназия! Она похитила у меня мои мысли и чувства, развратила и обленила меня! Дай-то Бог, чтобы все они исчезли под конец. «Школа свободного ребенка» – вот идеал. Учусь теперь лучше, прилежнее. Вот насчет нашей религии у меня сомнения большие. По-моему, лютеранская гораздо лучше. Патриотизма у меня, сказать по правде, мало. Россию я не Бог весть как люблю, хотя сам, по характеру и чувствам, несомненно русский⁶⁸.

Казенная квартира при гимназии занимала весь этаж, кроме отца – преподавателя, а затем инспектора гимназии – здесь жили: мать – певица и музыкантша, их дети: Володя, Нина и Таня.

Он, наверное, понимал, что у такого отца должен расти положительный, правильный сын, но себя таковым не ощущал. Его тяготила гимназическая жизнь, проникавшая за стены квартиры. Либеральный задор был свойствен просвещенному подростку, отсюда горделивые слова в юношеском дневнике: ««Школа свободного ребенка» – мой идеал!»

Мальчики из интеллигентных семей, читающие Джека Лондона и Киплинга, Пушкина, Некрасова и Блока, мечтали приблизительно об одном и том же – чтобы перевернулась вверх дном старая Россия. Их дяди и старшие братья участвовали в студенческих забастовках, и семья Луговского не исключение: брат отца, Павел, погиб на демонстрации в 1905 году.

Эпизоды революции в Москве проходят прямо перед окнами дома, который через два года придется навсегда оставить. Исчезнет кабинет отца, куда запросто приходили Ключ-

⁶⁷ Семейный архив Луговского-Седова.

⁶⁸ Там же.

чевский, Тураев и Сакулин. Исчезнет аллея возле храма, где, прогуливаясь по набережной Москвы-реки, А. Ф. Луговской раскланивался с Л. Н. Толстым. Началась другая эра.

Сразу после революции, бросив Московский университет, В. Луговской уехал в Смоленск с полевым контролем Западного фронта, но, подхватив там тиф, вскоре вернулся. Несколько месяцев он работает следователем в уgroзыске.

Легендарная Хитровка, облавы, притоны, проститутки, разгромы хитровского dna... Он живет рядом с Волхонкой, где родительская квартира при гимназии уплотнена до одного кабинета. Затем Военно-педагогический институт, чтение первых стихов Брюсову, Бальмонту. В начале 1921 года, наскоро его окончив, Луговской снова отправляется в Смоленск. Вся семья работает в расположенной недалеко от Сергиева Посада, в Розановке, детской колонии, которую возглавляет А. Ф. Луговской, живет крестьянской жизнью.

Рядом с колонией – туберкулезный госпиталь. Юная барышня Тамара Груберт, не окончившая Институт благородных девиц, помогала матери ухаживать за больными и одновременно ходила заниматься к А. Ф. Луговскому словесностью. Она и Владимир Луговской дают друг другу тайную клятву любви, решив не связывать себя брачными узами, нелепыми обязательствами. Они уважают свободу друг друга. Этот эксперимент в духе нового времени запустает на десятилетие их жизнь, в конечном счете разлучит их, так и не сделав счастливыми. Но пока он пишет ей из Смоленска, где все еще полно отзвуков опустошительной Гражданской войны.

Потом он воспоет эти времена в стихах. Но тогда он, политпросветчик, все более испытывает тоску и усталость от серости и грязи, обступивших его. А главное – от безверия.

Его отец, Александр Федорович Луговской, после школы-колонии в Сергиеве возглавлял лесную школу в Сокольниках; в ней училось много будущих филологов и поэтов – Л. Тимофеев, А. Тарасенков, Н. Дементьев и другие.

В 1924 году в тетрадах Луговского появляются неожиданные строки, свидетельствующие о том, что он еще не понимает, что происходит с ним, со страной, куда все идет. Но это странно лишь в контексте его будущей судьбы. Видимо, тот путь, который он выберет после 1926 года, не позволит даже вспоминать о таких настроениях. «Год седьмой» – это очередная годовщина Октября...

Год седьмой в тяжелый грохот канул...
Год восьмой – упорство укреплю,
Но судьба змеящимся арканом
Мне на горло кинула петлю.
Вот иду я поступью неспешной
(Все равно далеко не уйдешь),
Все равно мной двигает как пешкой
Наших дней измученная ложь.
Каяться мне вовсе не пристало,
Прошное бесчестить – не хочу,
Сам я сапогом давил усталым,
Сам уподоблялся палачу.
А теперь оправдываться странно,
Жизнь ведь к обвиняемым строга.
Многие твердили мне пространно,
Что свалюсь я к черту на рога.
Поздно поворачивать обратно,
Мир на повороте отупел.
Нужно погружаться тоекратно

В новую холодную купель.

20.11.1924. Ялта (?)

Здесь слышна переключка с есенинскими строками: «Не расстреливал несчастных по темницам...» Поэту важно было понимать, с кем он. С жертвами? С палачами? Или один.

Петровский и Луговской. «Поэты перешли на «ты»»

Сблизились Луговской с Петровским на Крымском побережье, в Ялте. Это место постепенно возвращало себе вид курортной местности; царские дачи и особняки превратились в Дома отдыха.

Хожу,
 гляжу в окно ли я –
цветы
 да небо синее,
то в нос тебе
 магнолия,
то в глаз тебе
 глициния.
.....
Под страшной
 стражей
 волн-борцов
глубины вод гноят
 повыброшенных
 из дворцов
тритонов и наяд.

Это Маяковский – о Крыме. Дворцы «вычистили» и поселили рабочих, чтобы «отремонтировать» их в крымской кузнице. Но глубины моря хранили не только от тритонов и наяд.

Под Севастополем, на кладбище судов,
Где мы с тобой ловили крабов. Жадно
Я для тебя нырял, летел в пучину
И видел мертвецов у миноносца,
Объединенных рыбешками, и шлюпку
С названием корабля,
 и никому
Я, возвратясь, не рассказал об этом.

В. Луговской. Эфемера

Только что в Крыму шли бои, власть переходила из рук в руки. В Севастополе местная Чека расстреляла и утопила в водах Черного моря тысячи солдат и офицеров. Эта чудовищная картина и открылась поэту.

Петровский оказался в Крыму сразу после того, как оттуда выгнали белых; в 1920 году у него обострился туберкулез – видимо, после ареста и тюрьмы, и он был отправлен в Ялту для лечения и на работу в комиссию Внешторга.

Дворцы и дачи Крыма национализировались сразу же после ухода из него врангелевской армии при помощи проверенных людей. Осенью 1921 года Петровский «участвует в ликвидации крымского бандитизма и спасении богатств крымских дворцов», а также занимается оценкой и распределением крымских дворцовых ценностей для музеев и для экспорта.

Луговской стал ездить в крымский санаторий с лета 1924 года (он работал политпросветчиком в Кремле).

Быт и нравы курортной крымской публики – в письме Тамаре Груберт:

Живем мы здесь небольшой (16 чел.), но тесной коммуной. Ведется умеренный флирт. Умеренность моих товарищей объясняется, по-моему, решительным безобразием половины наших дам. Но четыре небезобразных уже имеют сотоварищей...⁶⁹

Внешне жизнь курорта напоминает показанную в фильме «Веселые ребята»: легкие разговоры, флирт, музыка, вино, белые костюмы.

Летом 1926 года Луговского, так он чувствовал сам, приняли в настоящее поэтическое братство, хотя писал стихи он целых восемь лет. 3 июля он пишет Тамаре Груберт:

Мы здесь существуем с Петровским. Он носится с какими-то сумасшедшими проектами о создании нового Лефа. Его поддерживают еще несколько лиц. Но это секрет. Я тебе расскажу все лично...⁷⁰

За этот месяц жизни на юге Луговской пережил внутренний кризис:

Мне кажется, что я стал старше. Почему-то самый факт моего 25-летнего существования повлиял на меня в сторону серьезных размышлений о том, что я сделал и чего не сделал (последнего неизмеримо больше). <...> Последнюю ночь я физически чувствовал, как настоящее творчество, настоящая, подлинная жизнь, наполненная огромными и напряженными ветрами, проходит совсем мимо, бок о бок с пароходом. Я испытывал конечное удовлетворение и радость, и поэтому все мне немило (в поэзии). Конечно, на меня оказали влияние и длительное существование с Петровским и Петниковым в Ялте, разговоры, сумасбродства. Итак, это лето, особенно последние недели, были каким-то поворотным пунктом (вроде Смоленска). Это я знал и на это сознательно и неуклонно шел. Начавшееся состояние (началось оно с приезда в Крым) должно было разрешиться до конца. Я ходил с собой под ручку и разговаривал о многих и плохих вещах⁷¹.

В стихотворении «Два поэта» он говорит с Петровским как с равным:

Валились тучи. Рокотал зюйд-вест.

Дома едва не покидали мест.

Мы собрались.

В одном поэте

Кипел портвейн.

В другом чертовский ветер.

.....

Тогда, поняв всю гордость нищеты,

Восторг сумбура и железо ритма,

Друг с другом перешли они

на «ты».

В память о крымском лете 1926 года сделана фотография, запечатлевшая небольшую компанию отдыхающих; троих из них легко узнать: на лавочку присели Григорий Петников

⁶⁹ Семейный архив Луговского-Седова.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Семейный архив Луговского-Седова.

в фуражке и Дмитрий Петровский в колониальной шляпе, рядом стоит Владимир Луговской с полотенцем через плечо.

Дмитрий Петровский, судя по дарственной надписи на книге о Велимире Хлебникове («Самым человечным львам и первому среди них Владимиру. Дмитрий Петровский. Твой старший брат. 21.11.1926»), назначил себя учителем и старшим братом Луговского. Они с Петниковым были людьми другого поколения. Можно себе только представить, как много Петровский мог рассказать в те прогулки вдоль моря – о Хлебникове, Елене Гуро, молодом Маяковском, Пастернаке, начале футуризма, о своем партизанском прошлом, о том, как сражался то на стороне анархистов, то у красных казаков – одна из его повестей была автобиографичной и называлась «Дмитрий Петровский».

Марика Гонта вспоминала, что для того, чтобы писать стихи, Дмитрию Петровскому нужны были внешние толчки, жизненные инсценировки. Такими инсценировками было его участие в партизанских отрядах Щорса. Богатый творческий улов от личного общения с событиями и двигателями революции – Боженко, Примаковым, Подвойским, Стецким, Раскольниковым, Ларисой Рейснер. Когда утихло все, искал морскую тему⁷².

Петровский пытался убедить Луговского в необходимости для поэта необычной судьбы.

Кино, театр, литература 30-х годов выводят на авансцену времени полярников, летчиков, пограничников, шахтеров и других героев – сражающихся со стихией, преодолевающих трудности.

Вскоре Луговской, усвоив наставления своего учителя, вместе с Тихоновым отправится в Туркмению на границу, где шли бои с басмачами. Жар песков, азиатский колорит, настоящие опасности и приключения возвращали их к героям романов Купера и Кипплинга.

Влияние Петровского сказалось и на других сторонах поведения ученика. У Луговского появится и более легкомысленное отношение к семье (в 1925 году он все-таки зарегистрировал брак с Тамарой Груберт). Хотя отношения с женой продолжают оставаться для него важными и необходимыми – она и друг, и советчик, и редактор, но измены становятся все более привычными.

Летом 1926 года Петровский оставляет Марику Гонту. Он встречает киноактрису Галину Галину, с которой живет в Ялте. Но уже года через два он попытается вернуться к Марике.

Оказавшийся вовлеченным в эту ситуацию Б. Пастернак жаловался жене (в письме от 26 июня 1928 года):

Недели 3 назад, в вечер твоего отъезда, мне позвонила Мариечка. <...> Вчера я был у нее, она была очень весела, я читал ей. Она рассказала, что Дмитрий помогает ей и даже предлагает, чтобы все было по-старому... Вдруг пришел Дмитрий, нагловатый по обыкновению. Достаточно было двух слов, чтобы я вспыхнул. И пошло. Как он безобразен⁷³.

Знаменательно, что каждый из поэтов пройдет жесточайшее испытание, связанное с уходом-возвращением-разрывом с прежней женой, выбранной по духу и оставленной по обстоятельствам.

⁷² См.: Приложение. С. 477.

⁷³ Пастернак Б. *Переписка с Евгенией Пастернак*. С. 271.

Пастернак и Тихонов

*В нашу семью (Мясницкая, Петровский) вошел новый человек.
Это Н. Тихонов...*

*Из письма Б. Пастернака
Е. Пастернак. 24.6.1924*

Николай Тихонов вошел в московскую жизнь Пастернака в 1924 году. Хотя он был поэт преимущественно питерский, в Москву приезжающий наездами, но в те годы их пути надолго пересеклись. Около полутора десятка лет они будут на любом расстоянии ощущать друг друга, беспокоиться, передавать приветы, но в конце концов узел их отношений будет разрублен навсегда.

В самом начале пути Тихонов писал о себе много и по-разному. Например, в 1922 году мог сказать такие слова: «Сидел в Чека и с комиссарами разными ругался и буду ругаться, но знаю одно: та Россия, единственная, которая есть – она здесь. <...> Закваска у меня – анархистская, и за нее меня когда-нибудь повесят. Пока не повесили – пишу стихи»⁷⁴. Эти слова появились в журнале «Литературные записки», где печатались Серапионовы братья, в число которых он тоже входил. Напомним, что в этом братстве состояли М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц, К. Федин и другие.

Известно, что в начале 20-х годов в бывшем доме миллионеров Елисеевых была устроена коммуна-общедомовое литератураторов, называемая Домом искусств. Поселился Тихонов в одной комнатке (в «обезьяннике») с Всеволодом Рождественским – «в довольно узком темноватом коридоре, примыкавшем к просторной елисеевской кухне». У них была буржуйка, а у А. Грина, обитавшего в соседней комнатке, печки не было, и он часто рвался к соседям погреться. Через Рождественского Тихонов познакомился со всеми литераторами Петербурга.

На одну из встреч Нового года Рождественский пригласил в Дом искусств – молоденькую приятельницу Марию Константиновну Неслуховскую, которой был увлечен. С этого времени Тихонов стал бывать в семье Марии Константиновны на Зверинской улице Петроградской стороны. Впоследствии этот дом стал для Николая Семеновича родным: он женился на Марии Константиновне⁷⁵.

Мать Ларисы Рейснер в голодные 20-е годы пишет дочери в Афганистан о новых питерских героях:

Полюбила я очень Николенку Т<ихонова> – у него лицо такое, точно он долго плыл, и вот скоро берег, и он доплывет, и на берег выйдет <...>. А женился он на девушке странной: она костюмерша кукольного театра, куколки ее величиной в 8 сантиметров, одеты по эпохам, с точной поразительной выдержкой, делает она их сама, одевает так тонко-художественно, что похоже на модели; а вечером Николинька и она садятся за большим гладким столом, у них сделано 50 групп кукол разных эпох и национальностей, и жена выбирает какую-нибудь эпоху, расставляет их на столе и начинает рассказывать про них роман. <...> Поэт сидит и слушает, слушает до утра,

⁷⁴ Литературные записки. 1922. № 3. Цит. по: Фрезинский Б. *Судьбы Серапионов*. СПб., 2003. С. 490.

⁷⁵ *Воспоминания о Н. Тихонове*. М., 1986. С.10.

фигурки двигаются, а молодая жена творит фигурками жизнь, думаю, что жена Николеньки больше, чем он, поэт...⁷⁶

Неслуховские – старая петербургская дворянская семья, где было несколько веселых сестер, устраивавших вечеринки, маскарады, розыгрыши. Удивительно, что все, кто знали Тихонова, говорят, что он сохранил привычку к открытому дому, веселью, гостям и розыгрышам до самого последнего часа. Наверное, это единственное, что тонкой нитью соединяло Николая Тихонова с его прошлым. В семье Неслуховских, по воспоминаниям Каверина, близко дружившего с поэтом в те годы, его приняли как родного.

Отец Тихонова был парикмахером, мать – портнихой, старший брат стал мастером по парикам. Путь юноши, казалось, был предопределен, но его страсть к чтению приключенческой литературы и невероятное умение рассказывать экзотические истории, подлинные и выдуманные, сделали его поэтом-романтиком. В 20-е годы он страстно увлекся Киплингом, Лоуренсом Аравийским, учил английский язык, мечтал о путешествии в Индию.

«Очень кратковременное личное знакомство с Н. С. Гумилевым заставляет его сильно сосредоточиться и задуматься над своей работой», – так пишет о себе Тихонов в третьем лице в автобиографии 1926 года. Всю жизнь он хранил запретную книгу с подписью Николая Степановича Гумилева: «Дорогому Николаю Семеновичу Тихонову, отличному поэту. Н. Гумилев».

Тихонов создает поэтические баллады, пользующиеся огромной популярностью. Получает высочайшие оценки самых жестких критиков. Но в 1923 году он еще оставался несоветским поэтом. Именно тогда он напишет трагические строки:

Да, чужда мне, чужда Нева,
И ветер чужой распахнул окно,
В наших книгах не те слова,
И у мельниц не то зерно.

Тело бросили в долгий гон,
Но нельзя же годами в бреду
Вместе с кожей срезать погон
Иль на лбу вырезать звезду.

Нет огня, и погнулся нож,
Стыд смотреть глазами в глаза,
Хоть и это может быть ложь,
Но закрыты пути назад.

То, что «пути закрыты назад», – так, видимо, думали многие. Можно ли развернуть историю, которая на их глазах была оплачена столькими жертвами? Гражданская война принесла смерть почти в каждую семью... Может быть, надо было просто это принять?

Пастернак и Тихонов в середине 20-х годов не раз говорили о приятии времени, о смирении перед ним. Они познакомились в кружке Осипа Брика в конце 1923 года, и к июню 1924-го Пастернак всецело принял его в свою «семью».

Радость видеть такого человека, – пишет Пастернак жене, уехавшей с сыном на дачу, – он единственный, с кем я говорил о тебе. Тогда он преобразился, полез в кармашек своей куртки военной, порылся, помычал, ничего не нашел, что-то пробормотал, ничего не сказавши.

⁷⁶ Богомолов Н. *К изучению литературной жизни 20-х годов* // Седьмые Тыняновские чтения. Рига; М., 1995–1996. С. 294.

Это было в первое посещение. <...> Просил кланяться тебе, как давно мне это поручили Петровские, Брики, Асеевы и Маяковский...⁷⁷

Но если Пастернак по-детски воспринял нового друга, то К. И. Чуковский очень едко описывает Тихонова той поры:

Вчера был у меня самый говорливый человек в мире: поэт Николай Тихонов. У него хриплый бас, одет он теперь очень изящно, худошав, спокоен, крепок <...>. У него есть та связь с соврем. эпохой, что он тоже весь в вещах, в фактах, никак не связан с психологией, с духовной жизнью. Он бездушен, бездуховен, но любит жизнь – как тысяча греков...⁷⁸

Упоение стихией жизни свяжет Тихонова близкой дружбой с Луговским в их походах на Восток. Луговской писал, что любовь к самому процессу жизни (жизненная чувственность) мешает ему жить как нужно и писать как следует. А мешала ли она Тихонову? Вряд ли. В поэзии он редко грешил психологизмом, самоуглубленностью. Он – поэт-рассказчик, поэт-путешественник.

Впрочем, Чуковский не подметил в нем ничего такого, что и сам Тихонов не сказал бы о себе в стихах. Жесткие слова о его бездушии могут выглядеть лишь некоторым преувеличением.

Однако в 1926 году (12 августа) и Пастернак напишет о Тихонове жене в Берлин нечто похожее, но с дружеским расположением:

Так вот, бесконечные кавалерийские рассказы Тихонова, которые не прекращались с утра до вечера, и вообще соседство его юношеской и здоровой простоты (как у гимназиста) действовали на пульс и на все мое существо очень благотворно. Он около 7-ми лет был на фронте, в деле и имеет что порассказать. На его примере видишь, какую роль играет субъективное преломление мира. В его изображении от войны не остается ничего страшного, ничего грязного даже, точно и в действительности, десять лет назад, она целиком была приспособлена для детей среднего возраста⁷⁹.

Пастернак в эту пору, когда он так тяжело сходится со временем, ищет в друзьях противоположное своей усложненности; ему, человеку не воевавшему, любопытен мужской мир войны. Этим же, кстати, ему интересен и Петровский.

Вернемся к прерванной цитате. Вот что пишет Чуковский дальше:

...Того любопытства к чужой человеческой личности, которая так отличала Толстого, Чехова, Брюсова, Блока, Гумилева, – у Тих<онова> нет и следа. Каждый человек ему интересен постольку, поскольку он интересен, то есть постольку испытал и видал интересные *вещи*, побывал в интересных местах. А остальное для него не существует⁸⁰.

Отстраненный взгляд сменяется на раздраженный. Чуковский обрушивает на Тихонова все свое неприятие нового поколения поэтов. И Тихонову достается за всех.

Но он не настолько «бездушен» и «бездуховен» – не случайно в его сердце находится место для Пастернака и его стихов. Близок ему и Мандельштам, о чем свидетельствуют тревожные стихи 1924 года, в которых звучит предчувствие его страшной участи:

⁷⁷ Пастернак Б. *Переписка с Евгенией Пастернак*. С. 181.

⁷⁸ Чуковский К. *Дневники*. 1901–1929. Т. 1. М., 1997. С. 327–328.

⁷⁹ Пастернак Б. *Переписка с Евгенией Пастернак*. С. 181.

⁸⁰ Чуковский К. *Дневники*. Т. 1. С. 328.

Крутые деревянные колеса
Сродни гомеровскому петуху,
Как Аттики засушенные осы,
Звезда к звезде приколотыверху.

Советской ночи бледный Ганимед,
Не над тобой ли крылья распростерла
Слепая птица песен и побед
С железным клювом и железным горлом?

Самоуверенности в Тихонове еще не видно. Он вполне самокритичен, о чем свидетельствует дружеское письмо к П. Н. Зайцеву в 1925 году:

Работаю над 3 книгой стихов. Дело в том, что у меня после Браги, исключая Юг, – полное барахло, а не стихи. Все они сейчас снова пошли в работу, и раньше как во второй половине мая новых стихов конченных – не будет. Я сижу над ними как собака и обгрызаю их до костей. Останутся одни кости – пожалуйста. Никакого жира не признаю на словесных мускулах. – Слова должны быть, как боксеры – выдержаны на диете борца.

Пастернака главу из поэмы читал. Написал ему – все свои восторги и все свои сомнения насчет поэмы.

Костя Вагинов свои стихи пришлет Вам обязательно. На Пасхе в Москве быть не удастся, а вернее, буду в конце мая или в начале июня, когда сирень зацветет у Вас на Арбате. Привет москвичам, которые меня помнят и всем Вашим друзьям. Пришлите мне какие-нибудь стихи кружка – скучаю здесь без стихов.

Нет стихов – нигде, ни у кого. Не ленитесь – напишите мне на праздниках. Будет же у Вас 10 минут свободного времени.

А я в долгу не останусь.

Я Вас люблю, Петр Никанорович, за то, что Вы – такой беспокойной, искренний человек, а все стали сухими, как воблы. Ну, всего, пишите же,
*Н. Тихонов*⁸¹.

Пастернак, так же как и с Петровским, пытается через Тихонова иначе смотреть на мир, не замыкаясь в собственном. Очень проникновенно он пишет об этом Марине Цветаевой 11 июля 1926 года:

У меня гостит сейчас Ник. Тихонов. Он 7 лет провел на войне. Он нарушил мое одиночество, и я прямо ему назвал, в *чем* он мне мешает и чем удобен. Он мешает моим настроениям. Мне светлей и легче за его рассказами, чем в полной беспрепятственности с самим собой.

Вот мущина. В соседстве с ним мои особенности достигают силы девичества, превосходят даже степень того, что можно назвать женскостью.
<...>

Жизни, как ее, верно, постоянно видят другие, хоть тот же Ник. Тихонов, я никогда не видал и не увижу⁸².

⁸¹ Цит. по: Громова Н. *Хроника поэтического издательства «Узел»*. С. 19.

⁸² Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 7. С. 732–733.

Эти слова про девичество (как отсутствие мужественности) и про непонимание жизни еще отзовутся и в судьбе Пастернака, и в судьбе Тихонова; их подлинный смысл проявится в конце 30-х в полную силу...

Горький 17 марта 1928 года пишет Федину: «Грустно, что Тихонов подчиняется Пастернаку, и получаем из него Марину Цветаеву, которая истерически переделывает в стихи сумасшедшую прозу Андрея Белого»⁸³. Интересно, что Горький, несмотря на презрительно-негативную характеристику Цветаевой, вдруг почувствовал некое внутреннее родство между поэтами на тот момент времени.

⁸³ Цит. по: Хренков Дм. *Тихонов в Ленинграде*. Л., 1984. С. 51.

1927 год: макушка нэпа. Приметы времени

Москва еще прежняя – те же вывески, блестящие витрины, дорогие продукты.

Ахматова вспоминала, что нэповская Москва пыталась выглядеть как дореволюционная Россия, но это была имитация, жалкая подделка.

Молочницы, появляющиеся рано утром с бидонами парного молока, ходили по домам еще и в послевоенные годы.

Добирались молочницы до города где пешком, а где на попутных телегах летом или розвальнях зимой. Остановить их не могли ни дождь, ни жара, ни порог, вот и случалось, что зимой, – писала Лидия Либединская в своих воспоминаниях о московском детстве, – молоко подмерзало, и когда его переливали из бидона в кружку, мелкие льдинки похрустывали и шуршали. Зато какое это было наслаждение – набрать в рот и посасывать молочные льдинки⁸⁴.

Те же впечатления оживут в стихах Ярослава Смелякова:

Уже из бидонов молочниц льется
Хрустящее молоко...

В крохотной новелле о брате Татьяна Луговская вспоминала, как появилось его только что написанное стихотворение «Жестокое пробуждение». Он разбудил ее ночью, чтобы прочитать. «Заснула под утро, – заканчивает она рассказ, – когда уже скрипели за окном по снегу калоши идущих на службу людей и молочница уже ломилась в черный ход»⁸⁵.

На кухне, рыча, разгорается примус,
И прачка приносит простынную одурь.
Ты снова приходишь необозримый,
Дух русского снега и русской природы.

Москва еще сохранила свои особнячки с палисадниками. Но буквально через два года они постепенно исчезнут с лица города. Начнется снос старых московских домов, монастырей и церквей.

Взлетела на воздух и наша церковь Старого Пимена, – писала Лидия Либединская, – и церковь на углу Благовещенского переулка, и та, что в Палашах, где венчались Марина Цветаева и Сергей Эфрон. «...» Улицы напоминали траншеи – перекладывались новые трассы водопроводов, укладывались миллионы метров кабеля⁸⁶.

Город превратился в огромную строительную площадку.

...Жизнь сейчас – не что иное, как болезнь. Так жить долго нельзя!
И я думаю, что нужно предпринять какие-то меры для того, чтобы дать
трудящимся жить...

⁸⁴ Либединская Л. *Зеленая лампа и многое другое*. М., 2000. С. 19.

⁸⁵ См.: Приложение. С. 471.

⁸⁶ Либединская Л. *Зеленая лампа и многое другое*. С. 84.

Аппетиты зарвавшихся нэпманов, партийцев и спецов нужно сократить, так как такая несправедливость в пролетарском государстве нетерпима, такого мнения большинство рабочих, которые в трудный момент для республики Советов не щадили своей головы.

Дайте работу! Дайте хлеба! Дайте справедливости!⁸⁷

Это отрывок из письма к Сталину рабочего Л. К. Хачатурова.

Подобные настроения на руку Сталину. Манипулируя ими, он сможет задавить последние очаги экономической свободы. В год десятилетия Октября партия «дарит» народу сворачивание нэпа и переход к коллективизации и индустриализации. В конце 1927-го XV съезд ВКП(б) принимает решение «о вытеснении частного капитала из промышленности и торговли и о начале в ближайшее время перехода к коллективизации сельского хозяйства».

Поэты еще вовсю борются с нэпом, а его дни уже сочтены.

В 1927 году Маяковский, чутко воспринимающий настроения как снизу, так и сверху, выразил свой взгляд на расцвет нэпа в стихотворении «За что боролись?»:

Это –
очень плевое дело,
если б
революция захотела
со счетов особых отделов
эту мелочь
списать в расход.
Но рядясь
в любезность наносную,
мы –
взамен забытой Чеки
кормим дыней и ананасною,
ихних жен
одеваем в чулки.
и они
за все за это,
что чулки,
что плачено дорогого,
строят нам
дома и клозеты
и бойцов
обучают торгу.

Мелочь – это нэпманы. То, что Чека, по мнению Маяковского, забыта – это, скорее, фигура речи. В 1928 году вовсю развернется шахтинский процесс. Срок натурального обмена с нэпманами (мы им – дыни и ананасы, они нам – дома и клозеты) заканчивался.

Но и деятелям культуры ничто человеческое не было чуждо. Их любимые развлечения вполне буржуазны – бега, бильярд в комсомольском клубе в Старопименовском переулке, где часто проводят вечера Булгаков, Маяковский, Катаев, и конечно же – карты.

Странное свойство многих литераторов – бороться с мешанством, разоблачать его на каждом шагу и в то же время почти неизбежно попадать во власть его проявлений. Надо сказать, что Маяковский, когда ему напоминали о привезенной из-за границы машине – в тот

⁸⁷ История отечества в документах. 1917–1993. М., 1994. С. 54.

момент предмете роскоши, – страдал. При внешней резкости и грубости у него была ранимость подростка, и ему хотелось жить в согласии с самим собой. 1927 год стал для него началом самых тяжелых поражений.

Когда мы шли по Петровке, – вспоминал Асеев, – Маяковский вдруг говорит: «Коля, а что если вдруг ЦК издаст такое предписание: писать ямбом?» Я говорю: «Володичка, что за дикая фантазия! ЦК будет декретировать форму стиха?» – «А представьте себе. А вдруг!»⁸⁸

Надвигается эпоха великого перелома – второй акт революции, о котором мало еще кто подозревает. Уничтожение крестьянства, начало огромных строек, где будет широко применяться рабский труд заключенных, создание военизированного государства.

Интеллигенция бьется как муха в паутине. Поэт Павел Васильев, позже расстрелянный, в 1927 году горделиво писал:

По указке петь не буду сроду, –
Лучше уж навеки замолчать,
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

Седьмого ноября, в день десятилетия Октябрьской революции, московские и ленинградские троцкисты вышли на улицы. Оружием служили им листовки, швабры и луженые глотки.

В Москве с балкона гостиницы выступали Смилга и Преображенский. Муралов из окна Дома Советов шваброй отбивал попытку какого-то поборника «генеральной линии партии» поддеть крючком на проволоке и втащить в окно первого этажа полотнище с наклеенными на нем портретами Троцкого и Зиновьева. Раздавались крики: «Да здравствуют мировые вожди – Зиновьев и Троцкий!», «Ура Троцкому!»

21–23 октября Троцкий и Зиновьев исключены из ЦК.

В этом же году Троцкий на заседании исполкома Коминтерна заявил: «...опаснейшей из всех опасностей является партийный режим!» Троцкисты уже тогда называли Сталина «диктатором» и «лидером фашистов», что явствует из речи Рыкова на X съезде Коммунистической партии Украины 20 ноября 1927 года. Зиновьев закончил речь обращением к Сталину и к тем, кто за него распинался: «Если сказать в двух словах, то весь «текущий момент» нашей внутрипартийной борьбы сводится к следующему: вам придется либо дать нам говорить в партии, либо арестовать нас всех. Другого выбора нет»⁸⁹.

Известно, что Сталин выбрал последнее.

Девятого января 1928 года Петр Никанорович Зайцев заносит в дневник последнюю политическую новость, встревожившую Москву:

⁸⁸ Асеев Н. *К творческой истории поэмы «Маяковский начинается»* / Вступ. статья к публикации А. М. Крюковой // Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 488.

⁸⁹ Любимов Н. *Неувядаемый цвет*. С. 208.

В субботу 7-го арестован у себя на квартире Л. Д. Троцкий. К нему пришли Янсон с группой сотрудников ГПУ.

Троцкому предложили одеться в доху и увезли.

Нечаянно узнал о циркулирующем среди читателей варианте, заканчивающем «Роковые яйца» Булгакова. Главное чудовище, пожрав московских жителей, забралось на колокольню Ивана Великого и зазвонило в большой колокол, давно уже не звонивший...

Я-то знаю, что такого нигде не было у Булгакова.

Далее он изумляется, что читатели проявляют такую странную самостоятельность, присочиняя к уже существующей повести свои концовки.

Четырнадцатого января он снова фиксирует: «Троцкий ссылается в Верный (Алма-Ату). Высылают Радека; Смилга в Нарым»⁹⁰.

⁹⁰ РГАЛИ. Ф. 1610. Оп. 3. Ед. хр. 24.

«Констры» и конструктивисты

*Мое поколение – мастеров и инженеров,
Костистых механиков, очкастых врачей,
Сухих лаборантов, выжженных нервов,
Веселых глаз в тысячу свечей.*

В. Луговской

*Й-йехали ды констры,
Й-йехали ды монстры,
Инберы, вынберы,
Губы по чубам.
Й-йехали ды констры
По Лугу по вскому*

*А по-а-середке
Батька Сельвинский.
Атаман Илья:
– Гей, вы де-хлопцы,
А куды Зелинский,
А куда да куд-куды
Вин загинае шляхт.
А. Архангельский.*

*Пародия на «Улялаевщину»
И. Сельвинского*

В конце 1927 года издательство «Узел» доживало последние дни: «Узлы – манная каша с подливой из тухлых яиц»⁹¹, – писал Луговской жене о своих недавних товарищах. Среди них были те, которые скорее продолжали классическую традицию в поэзии (С. Парнок, В. Звягинцева, А. Ромм, М. Зенкевич, К. Липскеров и другие), завершая Серебряный век. Называли их неоклассиками. Спустя несколько лет, те, кому посчастливилось выжить, стали поэтами-переводчиками.

Что же касается Луговского, искавшего себя среди тех, кому принадлежит будущее, то скрыть ему свое поэтическое происхождение было непросто. Критики, уловив раздвоенность поэтической натуры, окрестили его лефоакмеистом. Однако вскоре вхожий к «узлам» конструктивист Сельвинский увел подающего надежды поэта с собой.

Конструктивисты появились задолго до индустриализации. Их идеолог – критик К. Зелинский в 1925 году рисовал в журнале «ЛЕФ» картины грядущей жизни:

Будущий динамизм будет продуктом величайшей технической нагрузки, величайшей эксплуатации вещей. Он заменит трамвай более удобной системой движущихся тротуаров. Он сделает дома поворачивающимися к солнцу, разборными, комбинированными, подвижными⁹².

⁹¹ Цит. по: Громова Н. Хроника поэтического издательства «Узел». С. 64.

⁹² Леф. 1925. № 3. С. 100.

Технические чудеса лежат в основе коммунистических утопий того времени. Указывая в анкетах социальное происхождение, все как один писали – «из интеллигентов». Их мечтой был грандиозный прыжок из темной и забитой России в технически развитую Америку. Их произведения были рассчитаны на спецов, на техническую интеллигенцию. В ЛЦК (Литературный центр конструктивистов) входили И. Сельвинский, В. Инбер, Б. Агапов, Г. Гаузнер, К. Зелинский, Н. Адуев, Е. Габрилович. Луговской, а затем и Багрицкий, с которым они недавно сблизились, пришли туда вместе.

Вера Инбер, единственная дама в группе, наставляла Зелинского из Парижа 2 февраля 1927 года:

С удовольствием прочла среди подписей две новые фамилии. Луговского я не знаю, но Багрицкого я всячески приветствую. Во-первых, он очень талантлив <...> во-вторых, он мой земляк. Я очень довольна. Об одном прошу, не берите Кирсанова. Он очень приятен, когда в чужой группе⁹³.

Шаламов, много раз посещавший вечера конструктивистов, писал о Вере Инбер:

Вера Михайловна Инбер появилась на московских литературных эстрадах не в качестве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил ее первую книгу «Печальное вино», вышедшую в Париже в 1914 году.

Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи...

Место под солнцем Вера Михайловна искала в сюжетных стихах.

Помнится, она сочинила слова известного тогда в Москве фокстрота:

У маленького Джонни
В улыбке, жесте, тоне
Так много острых чар,
И что б ни говорили
О баре Пикадилли,
Но это – славный бар.

Легкость, изящество, с какими В. М. излагала поэтические сюжеты, сделали ее известной по тому времени либреттисткой⁹⁴.

Маяковский, очень ревниво относящийся к конструктивистам, вначале искал дружбы Сельвинского и Зелинского. Последний вспоминал, как в обычной для него манере он пытался объединить их усилия:

Послушайте, Зелинский, я вам объясню, что значит литературная группа. В каждой литературной группе должна существовать дама, которая разливает чай. У нас разливает чай Лиля Юрьевна Брик. У вас разливает чай Вера Михайловна Инбер. В конце концов, они это могут делать по очереди. Важно, кому разливать чай. Во всем остальном мы с вами договоримся⁹⁵.

⁹³ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 608.

⁹⁴ Шаламов В. *Воспоминания*. М., 2005. С. 89.

⁹⁵ Зелинский К. *Легенды о Маяковском*. М., 1965. С. 8–9.

Это было еще время их мирного сосуществования; жестокие драки, которые кончатся гибелью всех групп, были впереди.

В братский союз конструктивистов попасть было не так просто. Молодежь, принятую в конструктивисты, называли «констромольцами». Каждая литературная партия искала себе поддержку во власти. РАПП и ЛЕФ опекался отдельными работниками ЦК и чекистами. Конструктивисты искали поддержку в оппозиции, не понимая еще, насколько это опасно.

Двадцать первого февраля 1926 года в письме в Париж, где Зелинский работал спецкором «Известий», его друг Агапов писал:

Илья был у Л.Д.Т. <Льва Давидовича Троцкого> вместе с Асеевым, которого взял с собой, Кирсановым, Пастернаком, Воронским и Полонским. Я человек маленький и туда не попал. Вопрос шел о том, чтобы печатать Илью. Провели они у Т<роцкого> 4 часа, и кажется, с триумфом. Т<роцкий> сказал, что вопрос о молодых поэтах надо поднять вместе с вопросом «о качестве продукции» стихов и (редакторском своеволии). В общем, как будто перспективы благоприятные...⁹⁶

В то время Троцкий оставался еще определенной силой, влиявшей на идеологию издательств и журналов. Ускорение индустриализации и дружба с интеллигенцией были частью его борьбы со Сталиным. Во время Великой Отечественной войны, когда все изменится, конструктивизм станет чем-то далеким, Сельвинского на самолете привезут в Кремль из Севастополя, из действующей армии, где его будут отчитывать члены Политбюро за стихотворение «Кого баюкала Россия». И в конце концов Сталин вкрадчиво резюмирует: «Берегите Сельвинского, его очень любил Троцкий!»⁹⁷ Сталин умел очень долго ждать, Сельвинскому он нанес удар почти двадцать лет спустя.

А 19 января 1927 года Луговской по-детски хвастается жене:

Был у конструктивистов, у них выходит сборник, в котором я получаю 10 страниц. К конструктивистам поступил Эдик Багрицкий – с ним веселее. Он ночевал у меня. Сегодня был вечер «Узла», Эфрос говорил обо мне, остальные тоже. Смысл тот, что я талантливый поэт. Вступление мое в литературу было хорошее, но что у меня есть несобранность, риторика и двойственность, «То как зверь оно завоет, то заплачет, как дитя» – как выразился Эфрос. Парнок поглядывает на меня очень мирно⁹⁸.

Багрицкий иногда вынужден оставаться на ночь в городе – жил в небольшой квартирке в Кунцеве (по тем временам – дачном месте).

Когда мы с Багрицким ехали из Кунцева
В прославленном автобусе на вечер Вхутемаса,
Москва обливалась заревом пунцовым.
И пел кондуктор угнетенным басом:
«Не думали мы еще с вами вчера,
Что завтра умрем под волнами!...»

В. Луговской

Луговского все привечают, и прежние и новые друзья, но остро стоит проблема заработка. Отсюда постоянные разговоры в письмах о халтуре: постановках для рабочих клу-

⁹⁶ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 463.

⁹⁷ Тимофеев Л. И., Поспелов Г. Н. *Устные мемуары* / Сост. и пред. Н. А. Панькова. М., 2003. С. 58–59.

⁹⁸ Громова Н. *Хроника поэтического издательства «Узел»*. С. 59.

бов, политпросветовских разработках. Пока еще – стихи отдельно, а заработок – отдельно. Это дает независимость, которую еще до конца не отобрали. Жить литературным заработком могут газетчики и редкие литературные чиновники, все остальные – по-прежнему служат.

Луговской становится все более удачливым поэтом. В мае получает от Сельвинского в дар знаменитую «Улялаевщину» с характерной надписью: «Владимиру Александровичу Луговскому – помните, что на Вас делается ставка – «перекройте» эту поэму. Сельвинский. 18.5.1927».

Выходят рецензии на два его первых сборника. В одной из них лестное сравнение – «по широте и силе мелодийного размаха Луговской похож только на Пастернака»⁹⁹. Слова о Пастернаке не случайны. С. Парнок в начале 20-х годов писала, что Пастернак будет рождать эпигонов, которые будут стараться его «перепастерначить». Луговской всегда помнил, что ему надо преодолеть в себе Пастернака.

⁹⁹ Берковский Н. Я. Красная газета. 10 окт. 1929 г.

Партия конструктивистов. Драка на все фронты

То, что близкие друг к другу поэтические сообщества бились не на жизнь, а на смерть, не так удивительно, как то, что сами эти группы к концу 20-х годов все больше стали напоминать не творческие объединения, а скорее партийные. У конструктивистов сразу же определился свой вождь – Сельвинский, а главным идеологом стал Зелинский.

В начале 1924 года, когда два товарища только начинали строить сообщество, будущий вождь писал на огромной тонкой бумаге-простыне проект о совместной деятельности:

О тебе: Что же касается тебя, Корнелий, сердечно поздравляю тебя с тем, что пред тобой наконец открываются московские и питерские журналы; в России ни у кого нет, разве у Троцкого, такого блестящего стиля, острого определения и французской усмешки. Через год, другой я буду иметь право вслух гордиться твоей дружбой и ссылаться на твой авторитет, который несомненно встанет в полный рост. <...> *О себе:* Можешь меня поздравить в свою очередь: я стал гением. Понимаешь? Как у Андерсена – был гадкий утенок, а вырос в лебедя. Ну так-таки просто напросто: гений, ей-Богу, вижу это в себе так, как свое отражение в зеркале. Дело в том, что я начал писать стихотворный роман «Улялаевщина» (вместо «Махновщины»), и вот, понимаешь, без всякого затруднения, как если бы я сидел и пил чай – оттискиваются такие главы, что мне жутко быть с собой наедине; мне все кажется, что это не я, что кто-то сейчас выскочит из меня и раскроют мистификацию¹⁰⁰.

Его особая одаренность была замечена сразу же и Маяковским, и Пастернаком, и всем поэтическим сообществом; его лидерство было признано. Сельвинский был замечательным выдумщиком. Слово «конструктивист» подходило к самой сути его поэзии.

В воспоминаниях одного из рядовых «констров», будущего киносценариста Евгения Габриловича (Габри), тогда выступавшего с идеей «литературного скандала», Сельвинский – крепкий молодой человек с черточкой усиков над губой. «Я не скажу, чтобы он был скромненький, – иронизирует мемуарист. – Уже тогда, в те ранние годы, он наделял каждого из нас фамилиями поэтов пушкинского созвездия, не оставляя сомнения в том, с чьей фамилией он ассоциирует себя»¹⁰¹.

В 1929 году вышел один из последних сборников объединения. С обложки литературного альманаха конструктивистов «Бизнес» на читателей смотрел американский небоскреб с надежными на него круглыми очками, очень похожими на очки И. Сельвинского. После выхода сборника Маяковский сказал ему: «Ну, что вы этими очками втираете очки рабочему классу?» Этот небоскреб Сельвинскому будут вспоминать все страшные 30-е годы.

Конструктивисты, прежде чем быть уничтоженными снаружи, разваливались изнутри тоже. Группа раскалывалась: по одну сторону – рядовые члены, по другую – вождь, Сельвинский, и его свита – Адуев с женой Софьей Касьяновной Вишневецкой. Зелинский в неотправленном письме к товарищу называет Адуева Лебядкиным, говорит, что он и его жена играют на дурных сторонах Сельвинского, раздувая в нем подозрительность к другим членам группы. Адуев после развала группы ушел в оперетту, стал сочинять шуточные куплеты, а его жена Софья Касьяновна Вишневецкая, козни которой тоже разоблачались Зелинским, вскоре покинула мужа и стала женой преуспевающего драматурга Вс. Вишневецкого. Софья Вишневецкая

¹⁰⁰ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 608.

¹⁰¹ Габрилович Е. *Четыре четверти*. М., 1975. С. 132.

училась живописи вместе с Еленой Фрадкиной и Евгенией Пастернак, сохраняя с последней дружеские отношения в течение всей жизни.

Трещина в среде конструктивистов расплзалась все сильнее. Летом 1929 года Зелинский пишет Луговскому, который ездит по Уралу и Сибири:

Мы тут тоже деремся на все фронты. Все, братцы, мало нас, голубчики, немножко. Все разъехались: Сильва пишет стихотворную комедию о Тирасполе. Верочка Инбер с Асмусами тихо «разлагается» на берегу Ирпеня под Киевом и пишет рассказы. Профессор мил и дожевывает Фихте. Асмусиха тоже мила (но про себя) и дожевывает мужа. Габри идет вверх по шаткой лестнице славы. Гаузер сейчас уехал на Кавказ. Вообще же он подписал с «Молодой гвардией» на очерки по соц<и>алистическому> соревнованию. Парнишка дико и с энтузиазмом полелел. На всех нас он смотрит с презрением: «интеллигенты». Он человек XXI века и не знает наших слабостей. Габри он считает «предателем революции». Женя пугается, но, понятно, не верит. Димочка Туманный полощет «зеленый шарф» в Оке. Живет в деревенском домике и пишет авантюрно-гонорарный роман по секрету от ЛЦК¹⁰².

Информацию о семье Асмусов Зелинский черпает из переписки с Верой Инбер:

Очень мне вас не хватает, и никакие Асмусы мне Вас заменить не могут. Сам профессор очень мил, у него вместо крови течет Фихте, разбавленный страхом перед профессоршей. Что касается ее, то, не будучи сплетницей, все же должна сказать, что душа этой женщины и вся ее структура мне непонятна. Иногда у нее бывают плохие дни, и тогда я, сидя у себя в комнате, радуюсь тому, что я не муж ее и не дочь. <...> Что Луговской? Как его успехи в среде широких рабочих масс. Здесь в магазине видела его «Мускул», но сам он где?¹⁰³

Валентин Асмус приехал в Москву с Украины в 1927 году, там закончил Киевский университет, в котором он и преподавал до 1919 года. В Москву был приглашен в качестве профессора в Институт красной профессуры. Именно в эти годы состоялось его знакомство с Пастернаком, роковое для первой жены поэта. Асмус знакомит Пастернака со своими киевскими друзьями Нейгаузами и приглашает отдыхать на Ирпень под Киев. Там и случится роман Бориса Пастернака с Зинаидой Нейгауз.

Девятнадцатого декабря 1929 года Асмус выступил в Политехническом музее на вечере конструктивистов и внезапно обрушил на них целый поток критических замечаний. Он говорил, что в сборнике «Бизнес» не учитывается обострение классовой борьбы. Что главный общий враг – буржуазия и буржуазная литература, на которую они не обращают внимания. Хитроумная тактика Асмуса (оказалось, он выступал с подачи самих конструктивистов) успеха не принесла. Асмус пытался прикрыть товарищей слева как философ-марксист, привнеся в идеологию группы тезис Сталина о нарастании классовой борьбы. Спустя две недели Зелинский отправляет письмо, пытаясь предотвратить развал группы. Он объясняет своим товарищам Б. Агапову, В. Инбер, В. Луговскому, что им не удастся при помощи левой риторики Асмуса удержаться на плаву, и требует продолжения борьбы за группу.

Поразительно, что это пишет человек, который через несколько месяцев в 20-м номере журнала «На литературном посту» выступит с резкой критикой бывших соратников, отмежевываясь от прежних взглядов. Статья называлась «Конец конструктивизма».

В начале 1930 года из группы выйдут Луговской и Багрицкий и совершат, видимо, самый горький для бывших товарищей поступок – они вступят в РАПП.

¹⁰² Семейный архив Луговского-Седова.

¹⁰³ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 463.

Спустя годы, уже в 1973-м, Валентин Асмус в письме к вдове Луговского каялся:

Когда я в грешные дни моей молодости – находился в группе «конструктивистов» (было и такое!), я считал его самым талантливым и интересным во всем их кругу, и я очень сочувствовал Сельвинскому, когда В.А. их оставил. Для Ильи Львовича потеря Луговского была страшная невосполнимая потеря, несравнимая с потерей Багрицкого, и счастье Сельвинского, что вскоре после ухода В.А. все литературные объединения были распущены: сила удара на этот раз была ослаблена «административным» решением вопроса обо всех группах, включая РАПП.

А знаете ли вы, что В.А. нежно называл меня «Валичка»?¹⁰⁴

¹⁰⁴ Семейный архив Луговского-Седова.

Корнелий Зелинский: менять «социальные маски»

К. И. Чуковский в дневнике от 3 декабря 1931 года рисует портрет Зелинского, сильно изменившегося за последние два года:

...В нем есть какая-то трещина, в этом выдержанном и спокойном джентльмене. «Ведь поймите, – говорил он откровенно, – пережить такой крах, как я: быть вождем конструктивистов, и вот... Этого мне <не> желают забыть, и теперь мне каждый раз приходится снова и снова доказывать свою лояльность, свой разрыв со своим прошлым (которое я все же очень люблю). Так что судить меня строго нельзя. Мы все не совсем ответственны за те «социальные маски», которые приходится носить. Обед был очень плох, в доме чувствуется бедность, но Елена Михайловна так влюблена в своего чопорного, стройного, изысканно величавого мужа, так смеется его шуткам, так откровенно ревнует его, а он так мило смеется над ее влюбленностью в красавца Завадского, что в доме атмосфера уюта и молодости. <...> О Зелинском какой-то рапповец сказал: «Вот идет наш пролетарский эстет».

Зелинский пересказывал эту остроту с большим удовольствием¹⁰⁵.

Зелинский был европейски образован, по-настоящему любил литературу. Будучи подростком, в доме гимназического приятеля Шуры Метнера он встречал Белого, Эллиса, Блока. Виделся с Бальмонтом, Есениным, Маяковским, с последним, как он считал сам, был в дружеских отношениях. Правда, Маяковский, по собственному признанию Зелинского, несколько иронизировал над его манерами и внешностью, называя его мужчиной тонким и изящным, почти как Стива Облонский.

В своей биографии, несмотря на множество провалов и умолчаний, Зелинский на многое проливает свет:

Я родился в семье инженера в Киеве в 1895 году. Время и место рождения были впоследствии передвинуты. Место рождения на Москву (поскольку туда вскоре переехали мои родители), а дата рождения сдвинута на месяц позже. Таким образом, как рассуждали отец с матерью, выигрывался год для воинской повинности.

Мой отец, инженер Люциан Теофилович Зелинский, родом из города Любича на Волыни, принадлежал к старинному дворянскому роду. Корни нашего древа, которые как-то для геральдической забавы изобразил наш отец, – уходили к началу 18 века. Мать моего отца служившая гувернанткой в доме моего деда, гордого, но обедневшего польского шляхтича, была немкой. Моя мать Елизавета Александровна Киселева, дочь врача, преподавала в гимназии Н. Шпис на Лубянке русский язык и литературу. <...> Весной 1914 года я закончил 6-ю гимназию¹⁰⁶.

В 60-е годы он гордится своим дворянским происхождением (если, конечно, это было правдой). С некоторым юмором пишет о том, что мать работала там, где теперь другое заведение (имеется в виду здание КГБ на Лубянке, где когда-то была гимназия); там же потом работала учительницей его сестра. Жуткая ирония! Сестра попадет туда уже в качестве заключенной в 1937 году.

Его отец – инженер и бывший дворянин – после фронта оказался в Кронштадте, где вступил в партию. Сын тоже «бросается в политику». Закончив историко-филологический факуль-

¹⁰⁵ Чуковский К. *Дневник*. Т. 1. С. 49.

¹⁰⁶ Зелинский К. *Легенды о Маяковском*. С. 7.

тет Московского университета, он работает военным журналистом где-то рядом с отцом в «Кронштадтских известиях», там Зелинский становится военным корреспондентом РОСТА. А оттуда попадает на место «редактора секретной информации при правительстве Украинской ССР». В автобиографии им делается интересное признание:

Тогдашний председатель ЧК Балицкий с некоторым изумлением рассматривал мои бумажные плоды быстрой ориентации в военной и политической работе.

– Пошел бы ты Зелинский к нам в ЧК работать. С нами не пропадешь и веселее будет.

Судя по извилистым дорогам его судьбы, предложение Балицкого не осталось втуне. Видимо, заведование секретным отделом и привело Зелинского на место корреспондента «Известий» в Париже и место секретаря Христиана Раковского. Старый большевик, руководивший Украинским правительством в 20-е годы, взял, или ему посоветовали взять, на службу способного молодого человека. Он прожил несколько лет в Париже, как признавался сам, встретил там своего бывшего преподавателя философии историко-филологического факультета МГУ – Ивана Ильина. Но тот холодно отнесся к бывшему студенту. Тогда-то Пастернак написал ему (еще незнакомому) несколько писем в Париж с просьбой встретиться с Цветаевой и взять у нее для него сборники ее стихов. Таким образом, и с Цветаевой, и с Пастернаком, и со сборником «Сестра моя жизнь», о котором Зелинский говорил как о самом дорогом, что у него было, он познакомился именно в те годы.

В начале 1926-го Зелинский еле спасся от неминуемой смерти. Дело в том, что по совету Маяковского в Париж он отправился вместе с дипкурьерами. Маяковский познакомил его с Теодором Нетте, «будущим пароходом и человеком», и тот взял его в свое купе. Поезд шел через Ригу. Зелинского спасло то, что напавшие на дипкурьеров белоэмигранты-мстители почему-то только наставили на него револьвер, но не тронули. Они убили Нетте и тяжело ранили его товарища. Корреспонденция Зелинского о том событии, вышедшая в «Известиях», и легла в основу знаменитого стихотворения Маяковского.

С 1932 года он участвует в ряде начинаний Горького, пишет большую статью о Ромене Роллане, удостоивается встречи с прославленным писателем.

В 1935 году увольняется из НКВД его отец, как написано в документе, с должности «инженера-теплотехника».

После смерти Горького Зелинский решил «лечь на дно». «Я почувствовал, что должен уединиться на время и изменить свою жизнь, отойти от суеты литературного общения и подумать». Он поселился в Быкове на даче актера Горюнова, в одиноком доме на окраине поселка. В автобиографии Зелинский, касаясь того исчезновения, делает поразительное признание, объясняя природу страха.

«Не следует, – пишет он, – строго судить людей, в которых громче заговорил инстинкт самосохранения»¹⁰⁷. Он вспоминает Горького и его рассуждение о том, что совесть – это сила, необходимая лишь слабым духом. И далее он с марксистской прямоотой говорит, что раз жизнь – существование белковых тел, выживает то тело, которое стремится выжить. Главная задача человека – выживание.

Тут много неясного. Близко общаясь с Горьким и его окружением, он, видимо, был связан с Ягодой и его ведомством. Но с началом зиновьевско-каменевского процесса дни Ягоды были сочтены. Однако и прятаться в Быкове на дачном участке было как-то странно, так как его мог выдать и хозяин дачи, да и место было совсем рядом с Москвой.

В эти годы ему действительно, видимо, трудно было выжить, были арестованы его зять – М. Танин, секретарь Хрущева, а затем и его сестра.

¹⁰⁷ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 4. Ед. хр. 2147.

В 1940 году он как-то очень «по-семейному» в Доме творчества Голицыно опекал Цветаеву и ее сына Мура, давал книжки, беседовал о литературе. А тем временем писал внутреннюю разгромную рецензию на сборник Цветаевой, готовящийся в Гослитиздате. «Сволочь Зелинский!» – напишет Цветаева в своем дневнике.

Согласно списку эвакуированных в Елабугу писателей следует, что там некоторое время был и Зелинский. Что он там делал? Почему остановился в Чистополе вместе с другими писателями? Дальнейшие приключения еще интереснее. Из Уфы он приехал в Ташкент в эвакуацию и тут же начал готовить сборник Ахматовой в печать. Выкинув оттуда большую часть стихов, пересоставив по-своему, пишет предисловие к нему: «Ужасающее по неграмотности и пошлости», – писала Л. К. Чуковская. А спустя несколько месяцев, 23 октября 1942 года, вернувшись из Москвы, «Зелинский привез разрешение на печатание книги, данное в очень высоких инстанциях»¹⁰⁸, – с удивлением заключала Чуковская в своем ташкентском дневнике. Интересно, что книга выходит в конце мая 1943 года, а в июле Зелинский уже в Москве.

Зачем ему были нужны Пастернак, Цветаева, Ахматова? Конечно, как гурман он наслаждался хорошими стихами, но он вовсе не стремился их печатать. Мало того, он откровенно их избегал, но словно по чьему-то велению оказывался рядом в самые трудные для них моменты жизни.

Свое истинное назначение он видел в работе с «разрешенными» литераторами. Не случайно после эвакуации, в 1944 году, он становится официальным биографом Фадеева.

В своих очень странных и путаных дневниковых воспоминаниях о Фадееве в 1954 году, написанных не для современников, а для потомков, Зелинский приоткрывает из-под маски казенного биографа ехидное недоброе лицо человека, вынужденного писать о Фадееве, который после смерти Сталина медленно теряет свой вес во власти.

В извилистом рассказе Зелинского всплывает странный московский эпизод 1944 года, когда его вызывают на Лубянку, где от него требуют ответа, почему он не сообщает о разговорах среди писателей. Он пишет, что его отпустили лишь под утро и почему-то не арестовали.

Тем же утром он бежит жаловаться к Фадееву, а тот увещевает его, объясняя, что партия требует от них поддержки, а интеллигенция все делает в белых перчатках. Потом Фадеев открывается перед Зелинским, рассказывая страшную историю того, как его ненавидит Берия и пытается уничтожить. Рассказ Зелинского настолько витиеват, что непросто отделить правду от лжи.

После войны он неоднократно присутствует на читках романа «Доктор Живаго», в его архиве есть рукопись романа.

В своих дневниках Зелинский описал подлинную жизнь литераторов. Но, понимая всю опасность этого, вел записи очень обрывочно. Он хранил материалы конструктивистов. У него оказались дневники Гаузнера – того самого, которого он называл человеком XXI века.

¹⁰⁸ Данин Д. *Бремя стыда*. М., 1997. С. 380.

Григорий Гаузнер. «Вытравить из себя интеллигента»

О Григории Гаузнере известно немного. Он был самым младшим из конструктивистов – родился в 1907-м, стал зятем Веры Инбер, мужем ее дочки – будущей писательницы Жанны Гаузнер. Он прожил очень короткую жизнь, умер 4 сентября 1934 года. Последняя запись в дневнике датирована 24 августа.

Вера Инбер пыталась написать воспоминания о нем, когда уже не было в живых ни его, ни дочери:

Гриша Гаузнер всегда казался похожим на Кюхельбекера. <...> Он собирал книги о Японии: позднее я вернула их его матери. При всей его молодости Гаузнер был уже совершенно законченным писателем. <...>

Его поездка в Японию от театра Мейерхольда, тот любил таких юношей. Театр Кабуки¹⁰⁹.

По дневникам видно, что Гаузнер был очень талантлив, обладал амбициями настоящего писателя, всерьез работал над большим романом с характерным названием – «Превращенный». В романе герой с фамилией Гаузнер проходит целый ряд испытаний.

Вот основные вехи романа: от грязи 20-х годов рывок к элегантности, культуре...

Проник в интеллигенцию. Блатная романтика. Кинематограф. Театры. Пивные. Кафе. Элегантность, изящество западных. Мальчик в клетчатой кепке с трубкой.

Журнальчики. «Вечерки», «Огонек», «Новый зритель», «Красная нива».

Он яростно тянется к культуре из своей грязной ямы 20-го года.

Нэпачи. Город. Живая церковь, черная биржа, вывески с составными фамилиями (приказчики и сухаревцы). Новые особнячки застройщиков. Рабочие клубы. Газеты... О чем говорят в инженерских квартирах. Смешанный быт. Вытравить из себя интеллигента. Превращение.

Гаузнер в 2000 году. Если сразу попасть в коммунизм, то я буду там жалок. Идеальная организованность. Чудеса техники – они все хозяева в них, а я невежа. Развившиеся большевики. Освобождение от собственности¹¹⁰.

Он не сомневался, что в XXI веке – мир разовьется во что-то прекрасное, он думает, что не будет достоин этого времени. Однако в его жизни все запутанней и сложнее. Он проходит настоящий путь к утрате в себе интеллигента – не в метафорическом, а подлинном смысле слова.

23 апреля 1927 года... Насколько мой путь труднее пути Бабеля. Он умнее меня: приходя к низшим, он остался собой самим. А я, как наивный дурак, Агапов, из честности сам старался стать низшим. Я изо всех сил старался подавить в себе себя, подавить в себе мать и растить отца. Я тужился стать свиньей. Как трудно мне теперь становиться на две ноги – попрыгавши на четвереньках...¹¹¹

Проблема превращения, заявленная в жизни и романе, не только его частное дело.

¹⁰⁹ РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 9.

¹¹⁰ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 246.

¹¹¹ Там же. Далее Дневник Гаузнера цитируется по этому источнику.

19 февраля 1931. Расправа с интеллигентами в большой степени вызвана тем, что мы думаем и потому опасны правительству, полагающему себя обладающим последней истиной. Утверждение, что мы сейчас уничтожимся окончательно, совершенно ложно. Мы понадобится еще. Больше мужества.

После путешествий в Туркмению, где он встретится с Луговским, военных лагерей, Гаузнер вернется в Москву.

29 ноября 1932 года. Приезд. Изменившаяся Москва. Чище. Притихшая классовая борьба. Новые здания, широкие тротуары на Садовой. Длинные продовольственные очереди. Констры возвратились к жизни, но уже пониженные. Циничный Сельвинский, официальный Корнелий, добросовестно ограничивший себя Агапов. – С другой стороны – ребята у Усиевич, только живущие сегодняшним днем, газетным, лозунговым, действительные лирики стройки, перемешивающие работу и вечеринки, поверхностные, плохо образованные, но уже нового качества. Жанна и вся история с ней. Вечера у Каганов, и этот еврейский американец, деловит, цинически трезво оценивает положение, рассматривающий ЦК как хозяев с причудами, которых приходится, вздыхая, уговаривать и стаскивать с облаков, – это компания, я вам доложу, – коллекция типов!

Интеллигентские метания разобьются в поездке по Беломорканалу. А пока – знакомство с чекистами, работа над книгой.

Тонкий, интеллигентный, красивый Григорий Гаузнер, знаток и любитель Японии и японского языка, член группы мейерхольдовского театра, после поездки на канал работает с Борисом Лапиным над книгой. Нечто иное он заносит в дневник:

27 августа 1933. Поездка на Беломорстрой, и впервые обстановка и круг верхов. Фирин с его необыкновенной биографией агента-заграничника. С скромный Горожанин. Выдержка и тренировка чекистов. Привыкшие ко всему и опытные женщины obsługi. Поездка на Волгу – Москву и необычайный слет. Ужин у Когана. Печальный Горький: «меня кормят всякими лекарствами, и тибетскими, и от каждого хуже». Рассказ Когана – как строили. «Я, кажется, хвастаюсь?» Горький уходит после краткой речи. Коган – это дело вытягивает. «Я уже не мог бы не строить. Сначала, когда меня Ягода позвал, я сомневался, какой я строитель». И как он нам объяснял работу на трассе лучше всякого инженера <...>.

9 сентября. Фирин в Гулаге. Он рассказывает, как вытягиваются в лагерную работу разные люди. «В основе, конечно, материальное». Обстановка «лагерной общественности», почетных наград и пр. Различие в пайках. Кулак – перерабатывает норму, получает лучшее снабжение. Попадает в обстановку налаженного хозяйства <...>.

Занятные новеллы, которые он рассказал о человеке, возвратившемся из лагерей, как его осторожно приняли и наступила серая жизнь и встретил он прежнего товарища и опять по той же дороге.

В сентябре Гаузнер работает над книгой, а в ноябре он – частый гость в доме Горького, где встречается с Ягодой. Все теснее его связь с Фириним (начальником Белбалтлага, а затем Дмитлага) и Берманом, одним из его заместителей. И вот еще одна характерная запись в дневнике.

4 ноября 1933 года. Встреча с Ягодой в доме Горького. Мягкий, женственный, лукавый человек, говорит тихо, спокойно, медленно, просто – и вместе с тем одержимый, со страшной силой воли. Сед. Утомлен. «Мы самое мягкосердечное учреждение. Суд связан с парагра-

фами, а мы поступаем в связи с обстановкой, часто просто отпускаем людей, если они сейчас не опасны. Мы не мстим».

14 декабря 1933 года. Мы с Авербахом на даче. Идем через лес, где дачи Политбюро, к Агранову. Авербах рассказывает мне о своем отце, двоюродных братьях – Свердловых (Зиновии Пешкове и других). У Агранова разговор о сборнике, литературе, контрольных цифрах – «была заминка, но сейчас темпы опять пойдут вверх, автомобилей через год выпустим больше, чем вся Европа». Приходит скрипач Буся Гольдштейн – Агранов любит музыку. Приносят сверток газет – в них секретные сводки на листках <...>.

Изменения в душевном состоянии бывшего интеллигента – налицо. Его дневники показывают, как с 1927 года в молодого человека, очень талантливого, склонного к философии и литературе, с началом дружбы с чекистами словно вселяется кто-то другой.

Все последующее время – это дружба и общение с чекистами, которая подтачивает талант, характер и, видимо, жизнь. Роковая дата смерти приближается.

7 марта 1934. Еще раз: оставь всякую мораль. «Хороший», «плохой». Рассматривай людей по-хозяйски, практически.

Последний крик. До конца жизни осталось два месяца:

30 июня 1934. Я позорно потонул в мелкой суеде и болтовне литературной среды. Дом писателей сказался. Больше так нельзя. Я мельчаю. Со всей яростью вырваться из этого. Перестать шлаться, перестать интересоваться сплетнями и злободневными затеями. Сосредоточиваться.

Вера Инбер пишет, что последний раз встретила с зятем в Железноводске. Он направился в Гагры, там ждала его Жанна. Он прожил в Гаграх всего несколько дней. Сначала простой насморк, хворал четыре дня и тут же умер. Диагноз – менингит. Это отрывочные заметки Веры Инбер. Мгновенная смерть на курорте. Удивила ли она кого-нибудь? С ним была только Жанна Гаузнер, его жена. Инбер вспоминает, что Жанна приехала из больницы, узнав, что наступил конец, стала рвать и выбрасывать из окна Гришины вещи. Может быть, боялась инфекции? Или еще чего-то? Она зачеркивает эту фразу и заключает записки соображением о том, что, наверное, Жанна делала это, чтобы освободиться от горя, так как у нее был нервный срыв.

Теснейшая связь писателя с Японией отразилась на его родственниках. Это видно по осторожным оговоркам Инбер: «Семья Гаузнера. Японские журналисты. Вообще – японцы. За это и пострадали потом»¹¹².

¹¹² РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 9.

Кризис глазами Луговского. «Возьми меня в переделку и брось, грохоча, вперед!»

В 1929 году личная жизнь у Луговского осложнилась. Тамара Груберт, с которой они были связаны с юности, от него ушла. Он настолько тяжело переживает разрыв, что оказывается на грани самоубийства.

Луговской отправляется по стране с бригадой поэтов и видит из окна поезда абсолютно новую страну, в котлованах строек, – и это ломает его столичный взгляд на вещи. К чему весь пафос конструктивистов? Страна и так знает, куда идти.

Луговской пишет Тамаре письмо за письмом, пытается вернуть ее, подробно рассказывая обо всем:

25 мая 1929.

Любимый мой Таракан!

Мы в Свердловске – т. е. в Азии. <...> Идут непрерывные огромные еловые леса. Скалы как замки, башенные и изглоданные временем. Закаты тревожные, азиатские. Представляешь себе пейзаж из шатра Грозного в рериховском этюде.

Свердловск американизируется как бешеный. Все изрыто: – от мостовых нельзя проехать – строят трамвай, проводят канализацию и водопровод в новые кварталы. Бесконечные стройки, цементная пыль, которая тучами несется по всему городу. Выстроены колоссальные здания среди домишек и пустырей. Новые пяти- и шестиэтажные здания среди домов в коробчатом стиле поднимаются всюду. Мы остановились в гостинице «Централь» (6 этажей, лифты), выстроенной в этом году. Она лучше московской. Ресторан, почта, телеграф, киоски, холл, бильярд, ванны и пр. Обстановка прекрасная. Но тротуаров около этого великолепного здания не имеется¹¹³.

Спустя три года Пастернак, путешествуя по Уралу, напишет сестре о том же месте:

Гостиница воздвигнута среди полуазиатских пустырей по последнему слову американской техники, при двухкомнатном номере уборная и ванная, но они бездействуют, и ходить надо в общую уборную, против чего нечего было бы возразить, если бы только в американской этой 9-этажной гостинице это не понималось по-казарменному: в общих этих уборных нет крючков и нескольких сидений, ничем не разгороженных: ты должен сидеть обязательно в чьем-нибудь обществе, и, когда открывают двери, тебя из коридора видят идущие мимо съемщики обоего пола¹¹⁴.

Луговской продолжает свой восторженный, хотя временами иронический, рассказ:

Со всех сторон – огромные заводы. Среди города озеро – пруд, красивый, но дико грязный. Тут же, черт знает почему, какое-то паровозное депо.

Был в Ипатьевском доме, где расстреляли Николая II. Дом белый, под горкой купеческой архитектуры. Теперь там – музей. Литературные дела средние, но ничего. Будет большой вечер в городском театре. Газеты дают литературные приложения. Настроение города – энтузиастическое.

¹¹³ РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 9.

¹¹⁴ Пастернак Б. *Письма к родителям и сестрам*. С. 549.

ческое строительство, гордятся Уралом, планируют, проводят... Все залито нефтью, которая забила в чувовских городках.

И спустя неделю:

Радость моя! Вот я и погрузился с головой в незнакомый мне мир доменных печей, вагранок, ремонтно-прокатных, литейных и механических цехов, газогенераторов, динамо, рабочих казарм, гари грохота. Конечно, когда в трех шагах от тебя из чудовищной утробы домны льются тысячи пудов белого, ослепительного чугуна, – это перевертывает всю психику наизнанку. Ты кричишь – и ничего не слышно, ты задыхаешься в сатанинской жаре, которая оседает на тело какими-то хлопьями, ты хочешь назвать брата своего – человека и видишь страшные лица <...> в проволочных масках и смертных асбестовых халатах. А чугун, сталь, железо в домнах, мартенах, Вильмановых печах свистит и воет, сквозь синие очки видно, как пляшут где-то глубоко и далеко в глазке печи языки и волны могучего расплавленного металла. <...> И на тебя летит колоссальная, легкая, пышущая невыносимым зноем змея – это будущие рельсы – это полоса, из которой скоро выйдет рельс. Она с ревом проносится у твоих ног, погибает, упруго подпрыгивая, и зубы, и ножи, тиски схватывают ее, огромные машины давят ее – тonyше, тonyше; еще, еще, режут, кидают куски, кладут на серое, разбегающееся синими огоньками поле стынувших рельс. Потом белая ночь, читать можно без лампы...¹¹⁵

Сборник стихов, который появился после того, как Луговской вышел из конструктивистов, назывался «Страдания моих друзей». Оглавление в тетради выглядело так: «Страдания общественные. Страдания любовные. Страдания бытовые».

Видимо, слово «страдания» стоит в том же ряду, что и «Зависть» Олеси, что и «Самоубийца» Эрдмана, продолжая самоиронию интеллигента по отношению к своему месту в новой действительности.

Разоружиться, разоблачиться перед государством и партией становится жизненной потребностью интеллигентов. Отсюда покаянная, исповедальная интонация:

Прости меня за ошибки –
Судьба их назад берет.
Возьми меня, переделай
И вечно веди вперед.
Я плоть от твоей плоти
И кость от твоей кости
И если я много напутал –
Ты тоже меня прости.

Письмо к республике от моего друга

В автобиографии он писал:

В процессе работы над книгой «Страдания моих друзей» у меня произошел резкий конфликт с тем социальным окружением, которое воспринимало только культурную и технически

¹¹⁵ Семейный архив Луговского-Седова.

прогрессивную сторону революции и нивелировало грозный, трудный и далеко не праздничный труд рабочего класса, стремящегося к уничтожению всех классов¹¹⁶.

Республика это знает,
Республика позовет, –
Возьмет меня переделает,
Двинет время вперед.

Еще нет особого страха, все слова идут от сердца. Это почти религиозный экстаз преклонения перед святыней государства.

В архиве Луговского сохранился лист бумаги (1929 год) – на нем почерком И. Сельвинского издевательский разбор стихов из последнего сборника, видимо, сделанный на выступлении поэта. Сверху написано: «Луговской должен съесть Асеева и Тихонова после книги + статья Зелинского. Революция на эстраде Политехнического музея». Страница разделена карандашом пополам, многие наблюдения – это ответ на стихотворные строчки.

Общественный раздел <...> Поза. Бутафория – мысль тускла. <...> Многогословие. Индивидуалистское мироощущение революции. Московские щи. <...> *Какиогословие*. Возьми же меня в переделку (без рифмы и стройка идет / и время идет / пойдет). Ведь это же пародия. Человек без юмора¹¹⁷.

Сельвинский в ужасе от упавшего уровня стихов Луговского; сравнивает их с поэмой Маяковского «Хорошо!», которую считает чистой агиткой. Он еще исполнен поэтического достоинства и уверенности. Сколько лет понадобится, чтобы выбить из Сельвинского воспоминание о творческой смелости. Вера Инбер спустя годы в мемуарных заметках горестно писала о выпаде бывшего товарища: «Луговской, описывая свой «путь к пролетарской литературе», даже восклицает:

Вы, очерив слова и сузив глаза,
Улыбались, как поросята в витринах...

Поросята – это были мы, конструктивисты. Дальше идет речь о «наибольшем враге», о «сусликах», «индивидуалистах» – приспособленцах и «мелкобуржуазных интеллигентах». Все это были мы!

Со всем этим, как выяснилось впоследствии, при вступлении в РАПП, Луговской вел борьбу. И становится ясно, что конструктивистская среда была губительна для поэта, если бы он вовремя не спасся. Но я, «суслик», очевидно, более выносливый, чем Луговской, не так остро ощущала вредоносность данной группировки¹¹⁸.

Вера Инбер продолжала спор с уже покойным поэтом (мемуары написаны спустя годы). Но и Луговской никогда больше не перепечатывал это стихотворение в своих сборниках.

О друзьях

¹¹⁶ Луговской В. *Собр. соч.*: В 3 т. М., 1986. Т. 3. С. 501.

¹¹⁷ Семейный архив Луговского-Седова.

¹¹⁸ Инбер В. *Записки многих лет*. М., 1964. С. 14.

Вы, ощерив слова и сузив глаза,
Улыбались, как поросята в витринах,
Потом постепенно учась на азах,
Справлялись идейные октябрины.

А когда эпоха, челюсти разъяв,
Начала рычать о своих секретах,
Вы стали метаться, мои друзья –
Инженеры, хозяйственники и поэты.

1929

Асеев и Пастернак. Эхо ЛЕФа

Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность – интеллигент. Это тот, который сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается и знает в точности, что такое подвиг, совесть и т. п.

Моя мечта – перестать быть интеллигентом.
Ю. Олеша. Книга прощания

От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.
Б. Пастернак. Охранная грамота

Пастернак – как дальнее эхо – слышит раскаты будущих разлук. Его сложные отношения с ЛЕФом и с Маяковским подходят к своему финалу.

Семнадцатого мая 1927 года в письме к Р. Н. Ломоносовой поэт делится предчувствиями:

Мне предстоит очень трудный, критически-трудный год. Трудности его надо взять на себя, оставаясь здесь. Разрыв с людьми, с которыми тебя все время ставили в связь, неосуществим из-за рубежа: в этой перспективе есть какая-то, трудно преодолимая неловкость. Вы наверное имеете представление о совершенно непроходимом лицемерии и раболепии, ставшем основной и обязательной нотой нашей «общественности» и словесности, в той ее части, где кончается беллетристический вымысел и начинается мысль. Есть журнал «Леф», который бы не заслуживал упоминания, если бы он не сгущал до физической нетерпимости эту раболепную ноту. <...> Вот из этого ложного круга, в оба полукружья которого я взят против моей воли, катастрофически и фатально, надо выйти на месте или, по крайней мере, попытаться.

С Маяковским и Асеевым меня связывает дружба, – продолжает он. – Лет уже пять как эта связь становится проблемой, дилеммой, задачей, временами непосильной. Ее безжизненность и двойственность не отпугивали нас и еще не делали врагами. <...>

Нам предстоит серьезный разговор и, может быть, последний. Гораздо трудней будет выступить с печатной аргументацией этого разрыва. Здесь придется говорить о том, о чем говорить не принято¹¹⁹.

Но как было соединить привязанность, дружество с невозможностью находиться на одном пути?

Четвертого апреля 1928 года он напишет письмо Маяковскому, где скажет уже со всей определенностью:

Вы все время делаете одну ошибку (и ее за вами повторяет Асеев), когда думаете, что мой выход – переход, и я кого-то кому-то предпочел. Точно это я выбирал и выбираю. А Вы не выбрали? Разве Вы молча не сказали мне всем этим годом (но как Вы это поймете!?), что в отношении родства, близости, перекрестно-молчаливого знания трудных, громадных, невеселых вещей, связанных с этим убийственно нелепым и редким нашим делом, Ваше общество, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервно-убедительнее меня?

¹¹⁹ Пастернак Б. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 73.

Здесь, прервав цитату, хотелось бы обратить внимание не только на то, что слова Пастернака очень задевали Маяковского – по сути, это предвещает тот обвал, который последует далее. Маяковский создаст РЕФ (в 1929 году) и буквально через год разрушит и его, уйдя в РАПП, чем вызовет протест самых преданных друзей.

Может быть, я виноват перед Вами своими границами, нехваткой воли, – продолжал Пастернак. – Может быть, зная, кто Вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить Вас и освободить против Вашей воли от этой призрачной и полубомбочной роли вождя несуществующего отряда и приснившейся позиции¹²⁰.

Сколько здесь подлинной любви к Маяковскому – попадание в ядро будущей трагедии. Оба поэта предчувствуют беду. Но словам Пастернака о спасении от самого себя, от своей роли суждено так и остаться словами, Маяковскому уже никто не может помочь. Пастернак медленно уходит от стремления быть «вместе с пятилеткой», он должен следовать каким-то своим собственным путем, не имеющим отношения ко всеобщему движению.

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.
Дай мне подняться над смертью позорной.
.....
Целься, все кончено! Бей меня влёт.

Это одно из самых загадочных стихотворений 1928 года – предчувствие насильственного конца и необходимость сделать то, что должно.

Слово «перелом» найдено эпохой или Сталиным поразительно верно. В письме к Федину 6 декабря 1928 года, которое является ответом на понравившийся Пастернаку роман «Братья», Б.Л. пытается говорить с ним как с товарищем, единомышленником:

Мне казалось, что если Вы, как и все мы, или многие другие из нас, добровольно ограничивали свой живописующий дар, свою остроту и разность, свою частную судьбу в эпоху, стершую частности и заставившую нас жить не непреложными кругами и группами, а полуреальным хаосом однородной смеси, то подобно *очень немногим* из нас, и, может быть, лучше и выше всей этой небольшой горсти, Вы это (все равно вынужденное) самоограничение нравственно осмыслили и оправдали.

Когда я писал 905-й год, то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки со временем. Мне хотелось втереть очки себе самому и читателю, и линии историографической преемственности, если мне суждено остаться, и идолотворчеством тенденциям современников и пр. и пр. Мне хотелось дать в неразрывно сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи¹²¹.

¹²⁰ Пастернак Б. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 198–199.

¹²¹ Пастернак Б. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 268–269.

Он ищет собеседника, надеется на общий взгляд на современность. Пастернак еще не готов к одиночеству, к монашеству поэта-отшельника, но уже понимает, что никакая «сделка» для него невозможна.

В этой же логике письмо Пастернака (13.5.1929) В. Познеру, который на Западе составляет антологию поэзии и не включает в нее стихи Асеева. Пастернак защищает раннюю лирику Асеева, но при этом строго оценивает его теперешнее душевное состояние:

А трагедия Асеева есть трагедия природного поэта, перелегкомысленничавшего несколько по-иному, нежели Бальмонт и Северянин, потому что тут не искусство, но *время* выкатило ту же, собственно говоря, дилемму: страдать ли без иллюзий или преуспевать, обманываясь и обманывая других¹²².

Асеев словно слышит его и отвечает Пастернаку в стихотворении «Сердце друга»:

Разве в том была твоя задача,
Чтоб, оставшись с виду простачком,
Все косноязыча и чуждача,
Всех пересчитав и пересудача, –
Будто бы не может быть иначе, –
Проходить в историю бочком?..

«Проходить в историю бочком» – этот обидный пассаж станет для дальнего и даже ближнего круга Пастернака выражением общего настроения.

Ветром рвало в стороны события,
Красный хутор, иволговый клен,
Я из сердца их не выгнал вон,
В эти всплески юности влюблен,
Их зажить не смог и позабыть я.

Асеев пытался напомнить Пастернаку об их молодости, когда они приезжали к сестрам Синяковым на хутор под Харьковом, заклиная его общим прошлым.

Этот разговор разнесен по времени на годы и десятилетия, но здесь не очень важны даты, понятно, что внутренне этот диалог начался с 1926–1927 годов и не прекращался до смерти поэтов.

Главный водораздел – смерть Маяковского.

Я с другим пошел к плечу плечом,
С тем, что в общей памяти хранится,
С ним, с земли восставшим трубачом,
А в твоей обиде – ни при чем.
В жизни – мне одним была ключом
Та – в пути плескавшая криница.
.....
Мне другие радости даны,
Я людей не увлекаю позой.
Мы с любым читателем равны,

¹²² Там же. С. 326.

Наши судьбы вместе сплетены,
Я живу – сочувствием страны,
Не ее капризом, не угрозой.

Заглавие стихотворения Асеева «Сердце друга» отсылает к строчкам из вступления к «Спекторскому» Пастернака:

Где сердце друга? – Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой.

Асеев принял этот поэтический пассаж на свой счет. А к середине 1930 года под влиянием гибели Маяковского и окружающей действительности у Пастернака все чаще возникают мысли о смерти, о близком конце:

Итак, я почти прощаюсь, – пишет он Ольге Фрейденберг. – Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилён сдвинуть ее с мертвой точки, я не участвовал в создании настоящего, и живой любви у меня к нему нет¹²³.

Открытое столкновение между Асеевым и Пастернаком произошло в декабре 1931 года на дискуссии в Московском отделении советских писателей; Асеев высказывал в выступлении приблизительно те же мысли, что и в написанном, видимо, по горячим следам стихотворения «Сердце друга».

Спустя время Пастернак делает надпись на фотографии Асеева в альбоме Крученых:

Отчего эта вечная натянутость между мной и Колей? Он так много сделал для меня, что, может быть, даже меня и создал, – и теперь с основанием в этом раскаивается. Как же сожалею обо всем этом я сам! Но все это совершенные пустяки в наше время нескольких сытых (в том числе и меня) среди поголовного голода. Перед этим стыдом все бледнеет. Оттенков за этим контрастом я уже никаких не вижу, а Коля их различает.

Слова о «поголовном голоде» отсылают к страшным впечатлениям поэта от голода 1932 года, который он увидит во время поездки на Урал.

¹²³ Пастернак Б. *Полн. собр. соч.* Т. 8. С. 430.

Петровский против Маяковского. Вариант пародийный

В 1927 году Д. Петровский присоединяется к хору хулителей Маяковского. Он посылает Луговскому статью и предлагает младшему другу, перепечатав ее, отнести в газету «Читатель и писатель» (приводим ее с некоторым сокращением):

Владимир!

Я посылаю тебе свою статью для ЧиПа о Маяковском на тот предмет, что, может быть, у тебя найдется 15 минут, чтоб ее перепечатать и сдать ее в перепечатанном виде Розенталю <...>.

Мне обязательно надо шлепнуть этого длинною резинкою – надоел.

«К Байрону такого Манфреда!»

<...> Кстати – еще о Маяковском (или вернее – Маяковскому): он взял на себя миссию быть совестью нашей общественности, но – не для очистки ли собственной совести? Оттого, что общественной совести никогда не удавалась поэзия от Некрасова до Демьяна Бедного. (Лермонтов и Пушкин не в счет.) Совесть любит ясность прозаических положений, хоть по своему состоянию и декларационна (лирична). <...> А то – и монумент с бронзовым голосом прет на монумент с пронзовым голосом (от слова пронзить, очевидно) и потом важно уходит (с эстрады), приспустив индейское крыло (от индейского петуха) своей тоги. И потому все итоги спрятаны в ночи <...>¹²⁴.

Статья, скорее всего, напечатана не была. Петровский же в личных отношениях с Маяковским сохранял льстивый тон.

В конце 1926 года он написал на титульном листе своей книги: «Дорогому Маяковскому в знак особенного крайнего расположения к нему <...>»¹²⁵.

В ныне опубликованных дневниках Тихона Чурилина рассказаны две истории, посвященные Петровскому, которого, как понятно из этих записей, с трудом выносили в доме Бриков. Там воспоминания о Хлебникове были восприняты с неприязнью, их сочли слишком, как пишет Чурилин, «самохвальными». Маяковский после обсуждения подошел к Чурилину и сказал презрительно о Петровском словами Хлебникова о Петровском: «Я сего пана достаточно знаю». Однако на открытый конфликт с ним не шел (это видно из тех же чурилинских дневников).

Но комичнее всего выглядит столкновение Чурилина и Петровского в доме Маяковского по какому-то нелепому поводу, где они по странности поведения вполне дополняли друг друга.

<...> Опять собрались в Гендриковом к концу лета, опять угощала великолепным нектаром крющона Лиля Юрьевна, – и опять впутался средь нас Митрий Петровский, хотя долгонько его не пускали сюда, – Брик сдержал слово. К счастью для Митрея – <NN> его противников не было – но был зато я, и я <наслаждался> отвел душу, каюсь. В числе своих был Пастернак, с которым у меня тогда очень ладилась приязнь и дружба. За крющоном было весело, звонко раскатывались смехунечки очень веселых тогда девушек лефовских, Лавинской и Семеновой, – веселиться не стеснялись. И дернул меня черт, подвыпив, поднять кружечку с крющоном за одну песенку казачью Митрея с припевом «вамбир-вамбир» и потянулся чокнуться с ним. Митрей, отстраняясь, перекосясь, передернулся и изрек:

¹²⁴ Семейный архив Луговского-Седова.

¹²⁵ Государственный музей Маяковского (Рукописный отдел. 11-358).

– Я – не хочу – пить с вами – я вас – не выношу –.

Минута – и я выплеснул бы ему свой крюшон в личину, так я рассвирепел тогда. Я уже крикнул – скотина! Но тут Маяковский, круто повернувшись, подошел ко мне с кружкой и сказал только «давайте» и чокнулся, и выпил. Я – остыл, и все кончилось ладно. Пред разездом В<ладимир> В<ладимирович> успел сказать мне: «не трожьте пана, так он и не воняет» и окончательно меня этим развеселил. Я окончил вечер, дурачась и веселясь, как редко веселился в Гендриковом. А Митрей исчез, как дым, как ладан после молебна в гостиной прежнего хорошего дома, попав туда – ничего не поделаешь как¹²⁶.

Чурилин спустя годы в письме к Петникову называл Петровского «калликатурой» на Хлебникова, подчеркивая при этом, что он во всех обстоятельствах всплывает, что бы ни происходило. Так ли это, будет видно впереди.

Н. Асеев спустя годы с горечью писал в неопубликованном отрывке из поэмы «Маяковский начинается»:

Друзья?
Но что друзей кружок нехитрый,
Сникающий
При первой же грозе?

Какой, к примеру, друг,
Хитровский Митрий? –
Избави бог
От таких друзей!

Однако Петровский после смерти Маяковского сыграл роль защитника памяти «друга». Крученных со слов Петровского записал:

В декабре 1930 г. в здании Союза советских писателей состоялся вечер памяти Маяковского. Выступали Каменский, Шкловский и Дм. Петровский (совместно с Яхонтовым, иллюстрировавшим доклад чтением стихов Маяковского).

Доклад Петровского назывался «Происхождение трагедии».

Петровский прочел «Две плоскости взгляда на Маяковского. Раздел 1-й – Гамлет и раздел 2-й – Аянт Биченосец».

Петровский выступил с дуэльными пистолетами и наводил их на Авербаха, сидевшего в первом ряду. Конечно, лектору пришлось потом со многими «объясняться»¹²⁷.

Эта история подтверждается заметкой в «Литературной газете», которая отметила хулиганское поведение Петровского. Однако поэт, несмотря на все свое «безумие», был очень разумен и устраивал скандалы только тогда, когда это было безопасно.

¹²⁶ Чурилин Т. *Встречи на моей дороге* / Вступ. ст. Н. Яковлевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 10. М., 2004. С. 468.

¹²⁷ Крученных А. *Наши выходы*. М., 1996. С. 131.

1929-й – год великого перелома. Приметы времени

*Мы в дикую стужу
в разгромленной мгле
Стоим на летящей куда-то земле –
Философ, солдат и калека.
Над нами восходит кровавой звездой,
И свастикой черной, и ночью седой
Средина
двадцатого века!*

В. Луговской. Кухня времени

Лидия Либединская писала о последних приметах уходящей Москвы:

По утрам меня будило петушиное пение – в дровяных сараях, где так вкусно пахло свежей древесиной, дворники держали кур. Переулки вымощены разноцветным булыжником, и так весело смотреть, как из-под лошадиных подков вырываются яркие искры. У ворот тумбы – из белого московского камня, а тротуары выложены большим квадратными плитами из такого же камня – на них так удобно играть в «классики»¹²⁸.

Сумбур переулков, лавчонок, заборов,
Трущобная вонь требухи...
Ночная Москва – удивительный город:
В ней даже поют петухи.

В. Луговской

Патриархальный московский быт уходил в прошлое не сразу. Какие-то кварталы города еще жили по-старому, а прежний Охотный ряд стирался с лица города. Уничтожались улицы Москвы. Напротив храма Христа Спасителя, доживавшего последние дни, начиналось строительство мрачного, будущего Дома Правительства, остроумно сокращенного в ДоПр (Дом предварительного заключения), что мистически предвещало трагическую будущность большинства его обитателей.

1929 год по странному совпадению выпал на пятидесятилетие Сталина. В статье «Год великого перелома» в газете «Правда» от 7 ноября 1929 года он во всеуслышание заявил, что партии удалось добиться перелома в настроениях деревни, и в колхозы добровольно пошел середняк.

Примечательно, что именно в этот год повальной коллективизации в стране снова вводятся хлебные карточки.

В магазинах все по карточкам, – писал Н. Любимов. – Впрочем, «все» – это громко сказано. Глазам входящих в продмаги не от чего разбежаться. При нэпе качество продукции только достигло старорежимного уровня¹²⁹.

¹²⁸ Либединская Л. *Зеленая лампа и многое другое*. С. 27.

¹²⁹ Любимов Н. *Неувядаемый цвет*. С. 23.

Особо притягательным местом для москвичей станет торгсин (магазин торговли с иностранцами). Булгаков в одном из набросков к «Мастеру» писал:

В магазине торгсине было до того хорошо, что у всякого входящего замирало сердце. Чего только не было в сияющих залах с зеркальными стеклами, у самого входа налево за решетчатыми перегородками сидели неприветливые мужчины и женщины и взвешивали на весах и кислотой пробовали золотые вещи... А далее чуть не до потолка громоздились апельсины, груши, яблоки. Возведены были причудливые башни из плиток шоколаду, целые строения из разноцветных коробок¹³⁰.

Недаром сюда приходят Бегемот с Коровьевым. Это вожаемое для москвичей место не могли не посетить гости столицы. Некоторое время в торгсины допускались только иностранцы. Потом, сообразив, что всех, у кого сохранились драгоценные вещи, у кого есть валюта, пересажать невозможно, власти распорядились открыть доступ в торгсины тем, у кого есть хоть один доллар и хоть одно колечко. Постоянных же покупателей выслеживали и приглашали на Лубянку.

Усиливалась цензура, уничтожался чужеродный элемент, так называемые «бывшие».

Приветствуются саморазоблачающие признания о прошлом. В эти годы все те, кто еще помнят о непролетарском происхождении, стараются уничтожить любые подозрительные документы. Но двуличие власти проявлялось и в этом – большая часть правительственной верхушки и, в частности, многие крупные чины НКВД были детьми лавочников.

Чистке подвергаются все – от служащих мелких учреждений до членов писательских организаций.

Спасались всевозможными способами. В частности, фиктивными браками. Именно такой брак благородно предлагает Луговской Ольге Алексеевне Шелконоговой, дочери крупного фабриканта, и даже венчается с ней в церкви. На какое-то время Ольгу оставляют в покое.

...С чисткой пока ничего не известно, – пишет она из Москвы на Урал Луговскому 24 мая 29 года. – Всех опросили о социальном положении, а меня не спрашивали. Лидия Каганская спросила у нашего секретаря: «Почему не опрашивали Ольгу Алексеевну?» – так ей на это ответили, что боятся, что я из буржуазной семьи, а она, говорят, по своей честности и прямоте об этом скажет, а уж очень жалко ее, если ее вычистят. И так меня не спрашивали до сих пор¹³¹.

Однако через некоторое время Ольга покинет дом Луговских на Староконюшенном, и следы ее затеряются...

Большой перелом означал не только уничтожение еще сохранявшихся прежних классов и сословий. Главный удар пришелся по Церкви, которая, как считалось, была идейным прикрытием сопротивляющегося раскулачиванию крестьянства.

В начале апреля 1929 года директивные органы получают аналитическую справку НКВД, в которой подчеркивалась «возросшая антисоветская активность религиозников». И уже в июле 1929 года в Москве заседает Союз воинствующих безбожников. Журналы и газеты атеистического свойства наполняются сатирическими карикатурами.

Но поразительнее всего был слом повседневного времени. Еще в мае 1929 года было выдвинуто предложение о введении нового календаря (с отсчетом времени не от Рождества Христова, а от Октябрьской революции). Постановлением Совнаркома был начат переход на непрерывную рабочую неделю с аннулированием субботы и воскресенья. Отменялись назва-

¹³⁰ Булгаков М. *Великий канцлер. Князь тьмы*. С. 182.

¹³¹ Семейный архив Луговского-Седова.

ния дней недели. Были дни, обозначенные выходными, но ни суббот, ни воскресений не существовало. Дни недели назывались: первый, второй и т. д.

Восьмого сентября Маяковский выступил на радио со стихотворением «Голосуем за непрерывку»:

Всем пафосом стихотворного рыка
Я славлю всю,
 трублю
 и приветствую
тебя – производственная непрерывка.

«Комсомольская правда» 13 декабря 1929 года от имени «рабочего Верещагина» вещала: «Непрерывка – наш первый долг <...>. С ней мы и попов путаем. Когда им теперь звонить – в воскресенье, нет ли? Большая тут благодарность советскому правительству».

Православное Рождество 1929 года было объявлено «Днем индустриализации», вновь прошли «комсомольские карнавалы – похороны религии».

Восьмого января 1929 года воронежская «Коммуна» рассказывала об устроенном в центральном саду областного центра антирелигиозном карнавале на льду с участием свыше тысячи молодых горожан. Группа комсомольцев была наряжена в костюмы «чертей», «богов», «монахов» и т. д. На катке состоялось сожжение «тела Христова в гробу» и Рождественской елки¹³².

В дневнике от 31 декабря 1929 года Лиля Брик записала: «Боролись со старым бытом – не встречали Новый год»¹³³.

¹³² <http://www.rae.ru/monographs/60-2386>

¹³³ Брик Л. *Пристрастные рассказы*. Н. Новгород., 2003. С. 196.

Любовные лодки

Год великого перелома странным образом стал и годом многих личных драм и потрясений.

В 1929 году терпит крушение семейная жизнь Булгакова; он знакомится с Е. С. Шиловой, начинается роман, но они вынуждены расстаться на долгих два года. Маяковский бросается в неудачный роман с замужней Норой Полонской. Последний год доживает брак Пастернака. «Вторым рождением» назовет он встречу и новый брак с Зинаидой Нейгауз. В письме к О. Фрейденберг он пишет о предчувствии конца.

Луговской тоже терпит крах в личной жизни. Видимо, зимой 1929-го он предпринимает попытку самоубийства, к счастью, неудачную. С дороги он пишет домой с Урала:

Я здорово устал в Москве. Внутри меня все сломано и разрушено. <...>

Милая сестричка, я опять удираю от судьбы, от всего на свете в стук поезда, в дорожный хохот товарищей, в ночевки, столовки, выступления, аплодисменты, к доменным печам, плавящейся стали и провинциальным бульварчикам¹³⁴.

Луговскому нужна только бывшая жена, воплощающая для него все: цельность, которой нет у него самого, преданность и верность. Он представляет, что возвращение может произойти только через собственное перерождение. И ставит перед собой задачу – стать новым человеком. В самом что ни на есть буквальном смысле слова. Тут много схожего с тем, что было с Маяковским, когда он лишился Лили Брик, а затем написал об этом поэму «Про это».

Луговской в экзальтации формулирует закон новой жизни, который он должен выполнить:

Я, может быть, больше, чем когда-нибудь, смотрю широко и далеко, но я стал в тысячу раз человечнее и горячее, потому что сам испытал боль непередаваемую и страдания, без которых не смог бы стать человеком. Я не могу уже жить без фонаря, который мне «светит», без простой ласки, без твоей самой повседневной любви, без элементарной заботы о тебе и твоей заботы... Ты вернулась, отрезав жизнь. Я вернулся, поставив крест на всех своих страстях и бреднях, но, получив взаимы широкое, мужественное философское мировоззрение, внутреннюю свободу действий, желание сокрушительной работы вместе с женой для *ребенка* и для *русской литературы* и для всех людей, страдания которых я сейчас так ясно вижу и переживаю...¹³⁵

Растерянность, одиночество и страх преследовали в этот год многих литераторов, отсюда и возникала последняя надежда на любовь как спасение, на женщину-друга, умеющую разделить одиночество...

Борис Пастернак, прочно связанный с женой духовными узами, тем не менее бессознательно ищет иную женщину. Земная Зинаида Нейгауз, увиденная им на даче за мытьем полов, становится для поэта иллюзией спасения, воплощением надежды на возможность диалога с реальностью.

Поиск Булгакова был направлен абсолютно в другую сторону. Он искал женщину-друга, единомышленницу, жену, подобную Эккерману.

¹³⁴ Семейный архив автора.

¹³⁵ Семейный архив Т. Луговской.

Для Маяковского, видимо, никакая женщина уже не могла стать спасением. Лиля Брик осталась в прошлом. Обзавестись семьей, бытом, счастливым уголком, писать стихи за столом в домашнем халате и тапочках, с красавицей женой, подающей кофе, – это было за пределом образа, который он выковал для своих читателей и слушателей.

«Самоубийца»

Обычно впереди времени летит слово. «Самоубийца» – так называлась пьеса Николая Эрдмана, написанная им в 1928 году. Название было симптоматично. Суицидальные настроения широко бытовали в то время в кругу интеллигенции, которая утрачивала и в политике, и в творчестве всякую стабильность и опору. Революционное мировоззрение, питающее целый слой писателей и поэтов, доживало последние дни. Выстраивалась новая чиновничья модель, где живому человеку не находилось места.

«Самоубийца» начинается фарсом. Главный герой, безработный Подсекальников, охотится ночью в коммунальной квартире, где он живет, за куском ливерной колбасы и оказывается неожиданно застигнутым женой. Он чувствует себя униженным кражей колбасы и хочет наложить на себя руки. Жена и теща пытаются отвлечь его от этого шага. Тем временем известие о желании Подсекальникова покончить с собой достигает самых разных лиц. К нему устремляются нэпман, священник, интеллигент, брошенная любовница – все они предлагают ему совершить самоубийство от их имени, чтобы таким образом выразить протест, который они сами выразить не могут.

Вот что говорит Подсекальникову представитель интеллигенции:

Аристарх Доминикович. <...> Посмотрите вокруг.

Посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего. Почему вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она молчит? Потому что ее заставляют молчать, гражданин Подсекальников. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников. Если мертвый заговорит. В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый. Я пришел к вам, как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел к вам от имени русской интеллигенции.

Интонация этого монолога поразительно совпадает с интонацией письма Викентия Вересаева, направленного правительству против цензуры:

Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы. Мы не можем быть самими собою, нашу художественную совесть все время насилуют, наше творчество все больше становится двухэтажным; одно пишем для себя, другое – для печати. В этом – огромнейшая беда литературы и она может стать непоправимой: такое систематическое насильствие художественной совести даром не проходит. Такое систематическое равнение писателей под один ранжир не проходит даром для литературы. Что же говорить о художниках, идеологически чуждых правящей партии. Несмотря на эту чуждость, нормально ли, чтобы они молчали? А молчат такие крупные художники слова, как Ф. Соллогуб, Макс. Волошин, А. Ахматова. Жутко сказать, но если бы сейчас у нас явился Достоевский <...> то и ему пришлось бы складывать в свой письменный стол одну за другой рукописи своих романов с запретительным штемпелем Главлита¹³⁶.

Просители, пришедшие к главному герою пьесы, не очень симпатичны. Эрдман вслед за Олешей, Ильфом и Петровым смеется над жалкой, слабой, не уверенной в себе интеллиген-

¹³⁶ *Власть и интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. М., 1999. С. 105.*

цией. И соединяет в один тип интеллигентов и обывателей, интеллигентов и мещан, что придает пьесе весьма двусмысленное звучание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.